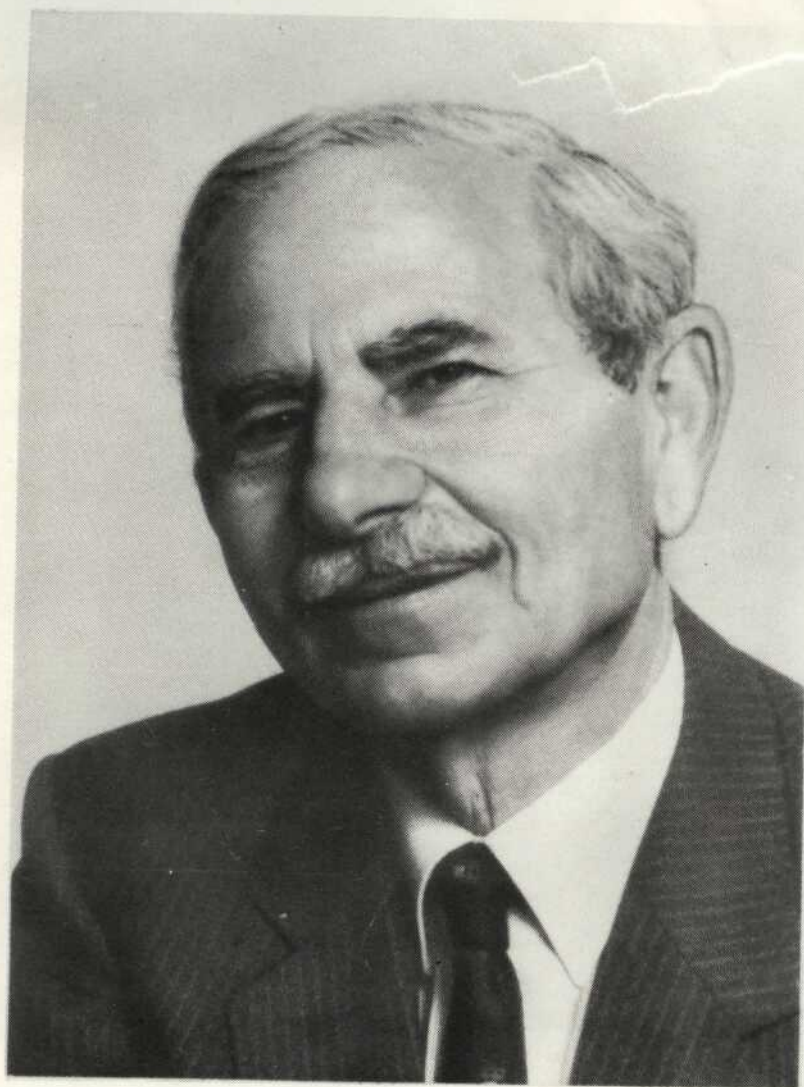




Анатолий Абрагам

Анатолий
АБРАГАМ

ВРЕМЯ ВСПЯТЬ

или
ФИЗИК
ФИЗИК
где ты был

Перевод с французского

Под редакцией
А.С. Боровика-Романова



Москва "Наука"
Главная редакция
физико-математической литературы
1991

Предисловие редактора

Я знаю профессора **Анатолия** Израилевича Абрагама очень давно как выдающегося физика-теоретика и необычайно интересного человека. Три его монографии, переведенные на русский язык, **принадлежат** к лучшим книгам, посвященным **магнитному, резонансу** и ядерному магнетизму. Даже первая из них, вышедшая почти 30 лет тому назад, до сих пор является настольной книгой тех, кто работает в этой области. Его научные исследования являют собой теснейшую связь теории и Эксперимента и нашли международное признание. Особенно ярким является многолетний цикл работ, начавшийся с создания метода динамической поляризации ядер ("**солид эффект**") и завершившийся открытием ядерных **ферро-** и антиферромагнетиков. Нейтронографические исследования этих состояний, казавшиеся на первый взгляд невозможными, были успешно проведены благодаря существованию "**изобретенного**" Абрагамом ядерного псевдомагнетизма. Абрагам является блестящим оратором, при выступлениях как с чисто научными лекциями, так и со спичами на банкетах. **Наконец**, он очень интересный собеседник. Он прекрасно без всякого акцента говорит по русски - не только потому, что он родился и прожил первые 10 лет своей жизни в Москве, но и **потому**, что он продолжает читать современные русские журналы и книги.

Узнав, что Абрагам написал автобиографию и даже переводит ее на русский язык и получив первые главы ее, я тут же начал их читать, получил огромное удовольствие и решил приложить свои усилия, чтобы эта книга как можно скорей стала доступной широкому кругу советских читателей. Широкому кругу потому, что она должна быть интересна не только физикам и не только ученым. Это связано прежде всего с тем, что Абрагам очень **много** путешествовал (это автор отразил в заглавии книги). Читатель найдет в ней описание школьной жизни в Москве в начале **20-х** годов, привыкание к парижскому лицу, переживания автора во время оккупации Франции фашистскими войсками. Автор **подробно** рассказывает о разных типах Высших школ (**Grandes Ecoles**) во Франции. Особенно интересно описание сохранившихся старинных обычаев английских университетов (*Оксфорд*). Живо написаны и впечатления о путешествиях в США, Канаду и страны Дальнего Востока. Очень актуальна глава "Запад и Восток".

Для ученых всех специальностей интересны соображения (**большой** частью критические) об организации образования и об **ор-**

ганизации и финансировании науки в разных странах. Абрагам занимал почти все административные посты в Комиссариате по атомной энергии во Франции, был членом Координационного Совета ЦЕРН'а. Он подробно рассказывает, что такое Коллеж де Франс, профессором которого он является, и как выбирают во французскую Академию наук (Абрагам член Академии с 1973 года). Абрагам встречался с очень большим числом выдающихся людей (не только ученых), краткие, но яркие образы которых даны в **книге**.

Вся книга пронизана характерным для Абрагама чувством юмора, что доставляет читателю особенное удовольствие. Он собрал большую коллекцию анекдотов про всех крупных физиков. Абрагам очень широко образованный человек, в его книге много цитат из произведений русских и иностранных авторов. Иногда, чтобы понять о чем идет речь, мне приходилось обращаться к энциклопедии. В таких случаях я писал примечания, чтобы избавить некоторых читателей делать то же самое.

Наконец, читателям-физикам я хочу сказать, что они получат кроме тех удовольствий, о которых я уже писал, большое удовлетворение от чтения чисто физических рассуждений, в которых автор исключительно наглядно объясняет весьма сложные физические понятия, связанные как с изложением существа **своих** собственных открытий, так и некоторых других физических проблем.

В заключение, следует подчеркнуть незаурядный литературный талант Абрагама. Он пишет своеобразным языком. И не **потому**, что забыл русский язык или не владеет современным языком. Это своеобразие доставляет особенное удовольствие, когда вчитаешься в книгу всерьез. Однако, оно доставило трудности редакторам книги. Трудно было удержаться, чтобы не переделать отдельные фразы. Полностью это стремление преодолеть не удалось.

Предисловие к русскому изданию

Жизнь прожить - не поле **перейти**

В ноябре 1987 года вышла в свет моя автобиография под заглавием "*De la physique avant toute chose*" отклик на знаменитый стих Верлена "*De la musique avant toute chose*". Что побудило меня ее написать, изложено подробно в предисловии.

В июне 1989 года был издан авторский перевод на английском языке под заглавием "*Time Reversal, an autobiography*". Заглавие я изменил, потому что стиха, подобного **верленевскому**, я не нашел ни на английском, ни на русском языке. "*Тремит физика удалая*" - бессмысленно. Зато мне лично очень нравится "*Физик, физик, где ты был?*", потому что нельзя придумать более точного описания содержания книги. Кроме ответа на этот вопрос в ней есть портреты физиков, с которыми я встречался, и немало анекдотов о них. Есть также отрывки о физике, моей и не моей, отмеченные одной или, редко, двумя звездочками. Я старался сделать их как можно более общедоступными. Удалось ли это, не мне судить. В отрывках с двумя звездочками я **достиг**, но надеюсь не **преступил**, границ того, что можно объяснить без формул и без рисунков. Мне кажется, что, кроме отрывков со звездочками, которые можно и пропустить, все остальное в книге доступно читателю со средним образованием.

Два слова об авторском переводе. Великий мастер этого искусства - Владимир Набоков. Можно только дивиться переводу, одновременно скрупулезно дословному и глубоко художественному, когда невозможно разобрать, где подлинник, где перевод.

Здесь об этом не может быть и речи, и не только потому, что **я** не Набоков. Вместо перевода я предпочитаю говорить о варианте. Я описываю события и встречи в моей жизни, в разных странах и в разное время, и мои размышления о них. То что набило оскомину французу или англичанину, может оказаться интересным или требовать объяснения для русского читателя, и наоборот, и я старался с этим считаться.

Я надеюсь, что редактор этого издания, дорогой Андрей Станиславович, разрешит мне выразить ему здесь свою глубочайшую признательность за все, что он сделал для этой **книги**, которую он буквально **"вынес на руках"**. Это далеко не первая моя **книга**, но никогда не встречал я ни у одного редактора столько тщательности, столько мастерства и столько самоотверженного труда. Сколько своего драгоценного времени он ей посвятил!

Предисловие к русскому изданию

Спасибо и милой Нине Шикиной, **"которой** в дружной встрече, я строки первые **читал"**.

Спасибо и Лене Ждановой и Юре Мухарскому, которые, **преодолев** многие проблемы **компьютерной** техники и программирования, создали макет книги.

Спасибо всем тем, которые приняли участие в **этом** предприятии.

Предисловие

И ложная скромность не так уж плоха
Жюль Ренар

Мне захотелось рассказать в этой книге разные истории про себя и про других. Зачем? Кого они могут интересовать? Меня самого? Но может быть, это не так?

Когда я страдаю бессонницей, **что**, к сожалению, случается все чаще и чаще, я пытаюсь восстановить в памяти какое-нибудь **происшествие** из моего прошлого, но результат всегда один и тот же: скучно, но недостаточно, чтобы меня усыпить. Кроме снотворного, единственное, что иногда помогает заснуть, это продекламировать про себя **что-нибудь** из **"Евгения Онегина"**, все пять тысяч строк которого я однажды насильно ввел в свою память при **обстоятельствах**, о которых, может быть, расскажу при случае.

На самом деле у этой повести имеется, как мне кажется, **несколько** мотиваций, как принято выражаться в наше время. Самой главной из них является возможность располагать персональным компьютером с уорд-процессором - замечательным "орудием **освобождения**". (В одном из фильмов Франка **Капра** тридцатых годов мать семейства сделалась писательницей, получив посланную ей по ошибке пишущую машинку.)

Еще одним поводом для этого нелепого предприятия послужило то, что некоторые из моих маленьких рассказов весьма забавляли друзей, а также моих верных слушателей в аудитории Коллеж де Франс. По крайней мере, их непринужденный смех позволял мне так полагать. Но кончилось это тем, что все мои истории они знали уже наизусть. В связи с этим я вспомнил помощника по административным делам в Комиссариате по атомной энергии Франции (где я занимал когда-то высокую должность директора Отделения физики) господина Жана **Пельрена** - очень милого и воспитанного молодого человека, который на вопрос, не известна ли ему та или иная моя история, неизменно отвечал с очаровательной улыбкой: "Не полностью, господин **директор**".

Чего же я ищу? Новых слушателей? - Возможно. Мне **рассказали**, что в манеже, где обучают верховой езде, начинающие наездники часто **мало-помалу** сползают по крупу лошади назад и что однажды один из этих несчастных, очутившись у самого **хвоста**, взмолился, обращаясь к инструктору: "Нельзя ли мне другую лошадь - эта кончилась!" Значит, мне тоже другую лошадь? - Не так-то просто!

Рассказывают, что господин **Франсуа-Понсе**, который так блестяще представлял в Берлине нашу страну до начала последней войны, собирал каждое утро в своем кабинете ближайших сотрудников и комментировал события вчерашнего дня с блестящим остроумием профессионального дипломата. Сотрудники постоянно восхищались тонкостью острот своего начальника. Но в один прекрасный день один из его юных коллег, скажем третий секретарь посольства, большой любитель начальнического **юмора**, хранит ледяное спокойствие. "**Что** же, мой милый, вы не поняли, в чем тут соль?" - спрашивает посол, избалованный прекрасно развитым чувством юмора своих сотрудников. "Как же, понял, господин посол, но я перевожусь в Копенгаген." Будут ли новые слушатели смеяться так же весело, как смеялись мои молодые, горячо преданные мне сотрудники? Как знать. Видно, не всякая лошадь годится. Что же вдохновило меня вступить на писательское поприще?

Адмирал Страус (по правде сказать, гораздо более страус, чем адмирал), который в пятидесятых годах руководил судьбой американской атомной энергии и среди своих достижений мог гордиться опалой Роберта Оппенгеймера, часто повторял, что не следует предавать гласности секретные документы. Ведь раз рассекреченное снова засекретить уже нельзя, разумно рассуждал он. Чувство, которое руководит мной сегодня, некоторым образом похоже на то, которое владело бравым адмиралом. Поясню. Я пережил библейский возраст Адама, и те, "**которым** в дружной встрече я строки первые читал, иных уж нет, а те **далече...**"; то, чего я не расскажу сегодня, никто никогда не расскажет; как наш адмирал, я охвачен чувством непоправимого и необратимого.

Предупреждаю сразу, что мое "рассекречивание", как и то, которое рекомендует адмирал, будет осторожным и даже застенчивым. Об этом позаботится моя **иудейско-христианская** традиция (более иудейская, чем христианская) - последняя черта моего сходства с нашим адмиралом. Но я оставляю за собой свободу шататься взад и вперед, как мне угодно, и нахально попирать хронологию. (У режиссера **Жан-Люка** Годара однажды спросили: "Не согласны ли вы с тем, что каждый фильм должен иметь начало, середину и **конец?**" - "Конечно, но не обязательно в этом **порядке.**")

I. Русское детство

Чтение - безнаказанный порок.

Валери Ларбо

Родители. - Герой повести. - Чтение. - Школа

Я провел первые десять лет своей жизни в Москве. Сорок сороков церковью украшали тогда этот город; так, по крайней мере, считалось. Но после восемнадцатого года этот непомерный квадрат был сведен к величине, более созвучной с требованиями эпохи и цивилизации. Я помню по сей день храм Христа Спасителя, о котором писали в газетах, что "художественной ценности это здание не **представляет**", и который взорвали **вскоре** после того, как мы уехали из Москвы. Знают ли мои (**западные**) читатели, что к концу двадцатых годов серьезно обсуждалось предложение взорвать и собор Василия Блаженного, чтобы освободить путь потоку автомобилей, которыми со временем государство собиралось обеспечить своих граждан. Могу засвидетельствовать, что в июне 1925 года, когда извозчик увозил меня к моей западной судьбе, автомобильное движение не препятствовало его трусце.

Я плакал горькими слезами, но отнюдь не **из-за** разлуки с родиной, а потому, что мне не позволили ехать на вокзал **автобусом**, которые тогда только начинали ходить по Москве. То, что часть семьи, включая мою старшую сестру, ехала автобусом лишь потому, что на извозчике не хватило места для всех, не могло уменьшить моей горечи. Наше движение замедляло еще и то, что извозчик усердно снимал шапку и набожно крестился у всех церковей, которых тогда оставалось еще весьма не мало. Зависть к членам моей семьи, которые ехали автобусом, раздражение при виде лысой башки извозчика каждый раз, когда он крестился, и более всего страх опоздать на поезд, страх, который по сей день преследует меня, куда бы я ни отправлялся путешествовать, - таковы были мои чувства при расставании с родиной.

Насчет самой поездки воспоминания у меня смутные. Помню, что мы путешествовали в жестком вагоне, т.е. на деревянных скамейках, и что главное наше занятие заключалось в том, **чтобы** раскладывать, поглощать и снова укладывать разную снедь, а также бегать за кипятком на станциях, пока мы были еще в России. Так как у нас были с собой и подушки, и одеяла, можно было растянуться на скамейках. Наша поездка делилась "на три части: Москва - Рига (в то время столица независимой Латвии), Рига - Берлин, Берлин - Париж. Помню, что я **рас-**

смастривал с большим любопытством головные уборы **полицейских: латвийских, литовских** (мы пересекли Литву не останавливаясь), а позже немецких и французских, столь отличных от остроконечных красноармейских шлемов. Мы миновали Польшу, и я должен со стыдом признаться, что пресловутый **"польский коридор"**, о котором часто говорили мои родители, представлялся мне коридором первого купейного вагона, который я увидел, выезжая из Риги.

Мы остановились на две недели в Риге, где жила тетя Таня, сестра моего отца (загубленная немцами в 1941 году), и на две недели в Берлине, где нас встретил брат моего отца, дядя **Иосиф**, или Джо, как он предпочитал себя называть, так как уже много лет был британским подданным. В Берлине мы дожидались французской визы для нас троих: мамы, моей сестры Шуры и меня. Отец должен был присоединиться к нам через несколько месяцев; я расскажу позже, что из этого вышло. А пока вернемся к Москве и к моим родителям.

У моего отца была небольшая пуговичная фабрика; мать была врачом. Я искренне считаю, что оба они, каждый на свой лад (они были совсем не похожи друг на друга), были интересными людьми. Отец сам создал свое небольшое, но весьма успешное предприятие, на котором работало человек двадцать. У него не было университетского **диплома**, но было большое уважение к культуре. Это выражалось в громадном количестве книг в нашей квартире. Я не думаю, что сам он был таким уж заядлым **читателем**, ему вряд ли хватало времени на это дело, и он предпочитал проводить свой досуг с семьей или с друзьями в беседе за столом, на котором царствовал наш большой самовар; но к книгам он относился с необыкновенным уважением. Кроме полных собраний сочинений всех великих русских писателей (папа покупал **только** полные собрания), его библиотека содержала переводы многих классиков иностранной литературы. Среди них я помню Гете, Шиллера, Гейне, Байрона, Шекспира (в двух или трех изданиях), **"Божественную комедию"** Данте (где меня страшно пугали **картинки ада**), а также Диккенса, Фенимора Купера, Жюль Верна, Майн Рида и т.д. К этому следует прибавить большое число энциклопедий. Я помню, что по вечерам папа любил **усаживать**ся с толстым томом какой-нибудь из энциклопедий с похвальным намерением расширить свой кругозор. Однако обыкновенно это чтение скоро прерывалось каким-нибудь более или менее срочным делом.

Кроме предпринимательских способностей у него были три качества, которые я всегда уважал в нем: физическая смелость на грани безрассудства, удивительная ловкость рук и великодушие. Именно эти качества помогли ему заслужить уважение и при-

взяанность рабочих и служащих его маленькой фабрики, где он проводил большую часть времени. От фабрики до нашего дома можно было добраться за четверть часа пешком, я любил там бывать. Там все было пропитано запахом машинного масла. И даже сегодня достаточно мне почуять где-нибудь этот запах (как у Пруста с воспоминанием, связанным с вкусом печенья), чтобы **снова** увидеть перед собой прессы, движимые приводными ремнями, пробивающие бесконечное число **дырок** в широких металлических листах, и поток металлических кружочков, падающих в громадные ведра. Я никогда не уходил с фабрики без запаса этих кружочков. Помню нашего старого мастера Сергея Романовича с висящими седыми усами, вечно **что-то** обсуждающего с отцом. Он приходил иногда к нам в дом, где ему подносили рюмку водки и корочку черного хлеба (которую он нюхал). По праздникам его угощали наливкой, которую покупали специально для него и которая, кажется, называлась "Спотыкач". Должен признаться, что я никогда хорошенько не знал положения отцовской фабрики при нэпе: был ли он владельцем или только заведующим. Когда я был ребенком, это меня мало интересовало, а теперь не у кого спросить.

Мать моя во всем отличалась от отца и, как мне кажется, была личностью весьма замечательной в своем роде. Родившись в 1879 году в белорусском местечке в семье мелких лавочников, она отказалась идти по пути, намеченному для нее любящими **родителями**: выйти замуж за честного коммерсанта и помогать ему торговать. Кроткая и почтительная дочь, нисколько не походившая на бунтовщицу, в важных делах она всегда поступала **по-своему**. Это обнаружилось уже в том, как она добилась среднего **образования**. С помощью местной попадьи, с которой она познакомилась и подружилась, она за несколько лет подготовилась экстерном и выдержала с успехом экзамен на аттестат зрелости.

Из близкого общения с попадьей (которая, судя по маминим рассказам, была незаурядной женщиной) и с ее семейством она извлекла бесценный дар - знание русского языка во всей его чистоте и красоте. Надо признаться, что не совсем на таком языке разговаривали в семье ее родителей и что на мамино знакомство с попадьей там смотрели косо. Знание русского языка и чистый русский выговор - пожалуй, самый драгоценный ее подарок мне, драгоценная чаша, которую я пытался пронести, не расплескав, через шестьдесят пять лет **"изгнания"**.

После "аттестации" ее **"зрелости"** моя мать возжелала получить и высшее образование, что в девятнадцатом веке для женщины было не так просто в России (да и не только в России). Вот почему моя мать, которая до тех пор вряд ли когда-либо поки-

дала свое **"местечко"**, пустилась в дальний путь, в незнакомую Швейцарию, чтобы поступить на медицинский факультет в Берне. Ей не было еще и двадцати лет, но родители примирились с ее планами в надежде, что она будет скоро обескуражена и вернется домой, чтобы выйти замуж, как подобает порядочной девице. Она действительно вернулась домой и вышла **замуж, но...** восемь лет спустя, защитив диссертацию в Берне и проработав потом два года в берлинском госпитале.

Мама любила рассказывать, как она отличилась в том же госпитале после нескольких лет практики в России. На прием к профессору привели больного, болезнь которого никто, даже **господин Профессор**, не мог установить. Мама сразу узнала сибирскую язву, с которой встречалась несколько раз в России, но которая в Германии, славящейся хорошей асептикой, была неизвестна.

Занималась медицинской практикой мама до начала первой мировой войны, когда наша семья со старшими братом и сестрой (я еще не появился на свет, хотя был уже ожидаем) переехала в Москву. В восемнадцатом году она пошла на службу военным врачом в больницу Красной армии, и в голодные годы мы перебивались благодаря ее пайку. Она охотно рассказывала про студенческие годы в Берне, где делила малюсенькую квартирку с двумя другими русскими студентками, питаясь почти **исключительно** хлебом с маслом, чаем и колбасой в течение шести лет. Берн в те годы, не менее Женевы, кишел русскими революционерами всякого рода, которые старались, каждый **по-своему**, возбудить революционную сознательность русских студентов. Ей случалось бывать на выступлениях таких звезд марксизма, как Плеханов, Ленин и Троцкий. Она была в те дни хорошо знакома с **Зиновьевым**, знакомства с которым она потом никогда не возобновляла.

Мой дядя Рафаил, младший брат отца, был горячим поклонником Зиновьева. Этот Рафаил уехал в Америку до первой мировой войны, но в 1918 году вернулся в Россию, считая, что революция в нем **нуждается**, и с тех пор, как говорила мама, "не переставал кусать себе локти", но сохранил свое восхищение Зиновьевым. Я хорошо помню его споры с мамой. Входя к нам (он жил рядом и приходил так **часто**, что мама однажды спросила: "Почему ты так часто **уходишь?**"), он объявлял: "Сегодня Зиновьев произнес блестящую речь". На что мама всегда возражала: "Твой **Зиновьев** - болван". Бедный дядя Рафаил парировал: "Все несчастье Зиновьева в том, что ты когда-то его знала в Берне!"

О занятиях в Берне любимым маминым рассказом был следующий (читатель поймет, почему она мне его рассказала, когда я уже подросток): профессор, читавший курс по венерическим **болезням**, толстый немецкий швейцарец, так начал свою первую

лекцию: "Meine **Damen und Herren, wer vor uns** hat nicht einmal einen kleinen Tripper gehabt?" ("Многоуважаемые дамы и господа, кто из нас хоть однажды не имел маленького **триппера?**")

Совсем недавно - это может показаться смешным - меня **осенило**, что в молодости моя мать была красавицей. Фотографии ранних лет, которые у меня сохранились, не оставляют на этот счет никакого сомнения. У нее были слегка выдающиеся скулы, **чуть-чуть** раскосые глаза, маленький вздернутый носик, **великолепные** зубы, которые она сохранила до **старости**, и прекрасные волосы. На всех семейных фотографиях, рядом с отцом, среди тети и кузин она выглядит как чужестранка. Какая прабабка согрешила?

Мы жили в Замоскворечье, во **2-м** Бабьегородском переулке, которого теперь уже нет. На том месте теперь памятником ему стоит гостиница ЦК - громадное красное здание. Наш дом номер 17 был каменный, двухэтажный. Думаю, что когда-то он был **довольно презентабельным**, но даже в мои детские годы уже сильно обветшавшим. (Я увидел его снова в 1956 году и в последний раз в 1961, каждый раз еще более разрушившимся.) За домом был двор, отделенный от улицы большими железными воротами, где стояли два флигеля, немного поменьше нашего. Двор, который в моих воспоминаниях казался обширным (но который странно сузился в 1961 году), всегда был полон мальчишек и девчонок. В середине росла черемуха, на которую лазили смельчаки (которая тоже странно съежилась за тридцать пять лет).

Мне кажется, что вначале, т.е. до революции, весь дом принадлежал нам, но позже мы стали жильцами как все, причем наша жилая площадь сужалась с годами, как шагреновая кожа у Бальзака. С самого начала мы покинули первый этаж, затем комнату за комнатой на **втором**¹. Одно время нам на кухню вселили трех инвалидов. Первый - Алексей, был инвалидом империалистической, второй - Степан, гражданской, третий не оставил следов в моей памяти. Я им очень обрадовался и посвятил их **приезду** четверостишие, которое папа отпечатал на пишущей машинке. Только две строчки сохранились в моей памяти: "Пришли три инвалида. Весьма ужасного вида". (Читатель, может быть, **простит** мне эти "стихи", если я скажу, что автору было шесть лет.) Несмотря на их обычную готовность расчистить **снег**, наколоть дров или поставить самовар, почему-то никто, кроме меня, не был огорчен их исчезновением, таким же внезапным, как и появление. Остальные жильцы второго этажа (**"интеллигенты"**, один из них

¹Во французском и английском изданиях здесь следовало подробное **объяснение** явления под названием "уплотнение".

дантист, другой - бухгалтер) были гораздо менее интересны. Про жильцов первого этажа я еще расскажу.

В 1925 году, когда мы уезжали из Москвы, наша квартира состояла из четырех комнат: спальня (родителей), детская (где спала и няня), столовая и так называемая гостиная (на самом деле библиотека, где громоздились все наши книги). (Помню мое изумление, когда я прочитал у **какого-то** классика про квартиру с тремя спальнями. "**С ума сошли**", - решил я, - "**что же они каждую ночь в другой постели спят?**") Ванную мы делили с жильцами второго этажа. Принять ванну было сложным предприятием, которое планировалось заранее, как переезд с квартиры. Вода нагревалась в объемистом вертикальном цилиндре, в так называемой колонке, которую начинали растапливать дровами, по крайней мере, за три часа до купанья или, вернее, купаний, **чтобы** не расточать горячую воду, нагреть которую стоило стольких усилий. (Эти строки были написаны для назидания моим западным читателям и, пожалуй, не так уж удивительны для русского читателя.) Отапливалась квартира двумя большими голландскими печками с белыми изразцами, у которых я очень любил греться. В общем, по жилищным нормам, которые начинали тогда входить в силу, нам жилось отнюдь не плохо.

Ну, а я? Каков был я? - Скорее маленького роста, но **здоровья**, как мне теперь **кажется**, глядя назад, гораздо менее хрупкого, чем считалось у нас в семье. Кроме кое-каких пищеварительных затруднений, серьезность которых бедная мама после смерти **старшего сына из-за** не во время прооперированного аппендицита, очевидно, преувеличивала и которым я был обязан частой диетой из манной каши на воде, с комками, при воспоминании о которых меня по сей день дрожь берет, я чувствовал себя хорошо и рос (медленно) без особых проблем. Большой охоты к физическим упражнениям я не испытывал (никогда не катался на коньках, а плавать и кататься на велосипеде научился только во **Франции**) и драк я остерегался. В мою защиту надо сказать, **что**, будучи значительно моложе своих одноклассников и к тому же маленького роста, я всегда был окружен мальчишками более старшими, чем я, что и объясняло мою привычку держаться подальше от сражений с ними. Когда же мне попадался противник моей весовой категории, как говорят в боксе, я не уклонялся от схватки (но это случалось **редко**).

На нашем дворе был один мальчишка меньше и слабее меня, к которому я относился с покровительственным презрением. Звали его Колька, как и большинство мальчишек на дворе, и жил он на первом этаже. Больше всего меня интересовала замечательная коллекция игрушек, счастливым обладателем которой он являлся,

и которыми я мог играть, когда его родителей не было дома. Происхождение этого изобилия было у нас предметом для **многочисленных** догадок: общепринятое объяснение было, что **Колькин** отец, телефонный монтер по профессии, имел свободный вход в магазины игрушек и широко пользовался этой возможностью. Почему он работал главным образом в игрушечных магазинах - было не ясно. Это был довольно гнусный тип, хотя не хуже **своей** жены, отвратительной бабы, которую он колотил, когда бывал пьян, что случалось приблизительно раз в неделю. В отличие от жильцов второго этажа он считал себя подлинным представителем рабочего класса и охотно рассуждал о необходимости выпустить кишки всем буржуям. Однако он делал исключение для моих родителей: отца он уважал за его золотые руки, за физическую силу и храбрость; мать - как доступного врача (к тому же, как я понял гораздо позже, потому, что он был далеко не равнодушен к ее наружности; эту догадку подтверждала ненависть его жены к маме).

Колька был самым развращенным мальчишкой, которого я когда-либо встречал. Под прикрытием непроницаемого панциря моей невинности, чтобы не сказать тупости, только в отрочестве понял я, наконец, смысл некоторых гадостей, которыми он меня потчевал. Не было и речи о том, чтобы я потребовал у **него** объяснений; это означало бы уронить себя перед тем, кого я считал ниже себя по возрасту, физической силе и, конечно, уму. За исключением **Кольки**, вне школы я был одинок. Правда, не совсем. - У меня были любимые товарищи - книги.

Как многие, я не помню, когда и как я научился читать. Есть у меня лишь одна веха: приезд из Ленинграда семьи дяди Рафаила с новорожденным ребенком, моим кузеном Сеней. Я прекрасно помню, что, когда они приехали с вокзала, я читал "**Сказки братьев Гримм**". Так как Сеня на четыре года моложе меня, то твердо установленным фактом можно считать мою грамотность в четыре года. Мама утверждала, что я знал азбуку в два года и научился читать сам, когда мне еще не было трех лет, но матерей нельзя считать беспристрастными к собственным детям. Во всяком случае после того, как я научился читать, для меня изменился мир - я стал сам себе хозяином. Что же я читал? Да все! Русских классиков, конечно, т.е. прозу; поэзию, как я считал, не читают, а выучивают наизусть. До десяти лет я прочел всю прозу Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Я знаю это достоверно потому, что в эмиграции, когда мне исполнилось тринадцать лет, я решил все перечитать и убедился, что все прекрасно помню. Конечно, я прочел "Детство. Отрочество. **Юность**", а также "Войну и мир", несмотря на бесконечные французские разговоры,

и "Анну Каренину" Л. Н. Толстого; "Записки охотника" и "Отцы и дети" И. С. Тургенева; "Обломова" и "Фрегат Паллада" И. А. Гончарова; "Преступление и наказание" (да, да) Ф. М. Достоевского и многих других авторов, которых во Франции знают только специалисты по русской литературе: Н. С. Лескова, А. Ф. Писемского, Д. В. Григоровича, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Но больше всего я любил Алексея (Константиновича) Толстого. Его "Трилогия" и "Князь Серебряный" были для меня первым уроком русской истории. Я поздравляю себя с тем, что не открывал Чехова в детстве, - он писатель для взрослых.

Из переводов, кроме детских книг - Жюль Верна, Майн-Рида и Фенимора Купера - я зачитывался Александром Дюма. В его многотомном романе "Жозе Балзамо" я почерпнул подробные сведения о графинях Помпадур и Дю Барри, герцоге Шуазель и канцлере Мопу. Самым любимым был, конечно, Конан Дойль, хотя имя его бессмертного героя Шерлока Холмса вызывало во мне сложные чувства, о которых я расскажу немножко позже. Но над всеми царствовал Шекспир, который у нас имелся в двух или трех изданиях. Мне так и не удалось полюбить Гамлета: мне (да, очевидно, и не только мне) было неясно, сошел ли он с ума или притворяется. Но я зачитывался трагедиями "Отелло", "Макбет", "Король Лир", "Венецианский купец" (из-за Шейлока?) и историческими пьесами "Генрих IV", "Генрих V" и "Ричард III". Французскому языку Шекспир не созвучен, все его переводы на французский плохи (мое личное мнение, конечно), и, когда мы уехали на запад, моя любовь к Шекспиру испытала двадцатипятилетнее забвение - до тех пор, пока я не овладел английским языком в такой степени, чтобы извлекать удовольствие из чтения его в подлиннике.

Большое удовольствие слушать Шекспира в исполнении английских актеров. Бернард Шоу совершенно правильно сказал, что и проза, и стихи Шекспира - прежде всего музыка, которая улаживает слух. Я полагаю, что если бы Толстой имел возможность слышать эту музыку, он не написал бы своих нелепых (да, нелепых!) нападок на Шекспира. (Здесь примечания для русско-го читателя: Жорж Орвелл, анализируя его статью "Что такое искусство", замечает, что вся тяжесть толстовской критики обрушивается на "Короля Лира", и объясняет это тем, что Толстой подсознательно отождествляет себя с Лиром. Se pop e vero...² Замечу, наконец, что в переводах Пастернака встречается "отсебятина", иногда весьма смешная. Так, в "Антонии и Клеопатре" (Anthony and Cleopatra) он переводит "Let him marry a wife that

²"Se pop e vero e ben trovato" (итальян.) - "Если это и не правда, то хорошо придумано". - Примеч. ред.

can not go", что означает "Пошли ему бесплодную жену" как "Пошли ему безногую". Переводы Лозинского, по-моему, гораздо лучше. Ничем не уступая в музыкальности, они гораздо точнее.) За последние годы я составил себе коллекцию пьес Шекспира на кассетах, записанных знаменитыми шекспировскими актерами, которые я прослушиваю, гуляя в лесу на даче. Меломан особого рода, я сравниваю записи, сделанные Лоуренсом Оливье (Laurence Olivier), Полем Скофилдом (Paul Scofield) и Джоном Гилгудом (John Gielgud), или Пегги Ашкрофт (Peggy Ashcroft) и Кларой Блум (Claire Bloom).

Возвращаясь к Шекспиру своего детства, задаю себе вопрос, понимал ли я все, что тогда читал? - Да, но по-своему. Вот два примера. Для меня рыцарем из хроники Генрихов являлся Фальстаф. Я принимал за чистую правду всю его ложь и бахвальство; для меня по сравнению с Фальстафом (этим толстым трусом, плутом и бабником) бледнели все доблестные герои - принц Гарри и другие. Пожалуй, именно в этом я тогда правильно понимал Шекспира. Что касается "честного Яго", я ему доверял до конца упрямее самого Отелло, и смерть Дездемоны принимал как печальное недоразумение, в котором она сама была виновата.

С моим чтением были связаны очень сильные ономастические предрассудки. Объясню, что это такое. Когда я был юным (45 лет), начинающим профессором в Коллеж де Франс (о котором я подробно расскажу позже), во время одного из заседаний председатель сообщил, что Коллеж (я буду в дальнейшем так его называть для краткости) получил приглашение прислать представителя на международный конгресс по ономастике. Я поднял руку и заявил, что охотно поеду, если мне объяснят, что это такое, вызвав взрыв негодования у представителей гуманитарных наук ("литераторов", как мы их называли) и взрыв восторга у представителей точных наук (так называемых "научников"). Председатель объяснил мне (и остальным "научникам"), что ономастика - отдел языкознания, изучающий собственные имена.

Итак, у меня были сильнеешие предрассудки насчет собственных имен или, вернее, насчет букв, из которых они были составлены. Буквы Л, М, А, Р, Ф, Г я считал благородными, О, П, К, Ш, Б - низменными, остальные - нейтральными. (Для Фальстафа, наверное, это и сыграло свою роль.) Возникал конфликт с моими любимыми авторами, когда они называли любимых мною героев отвратительными именами. Когда у героя было два имени, как, например, Шерлок Холмс, я их рассматривал как две различные личности: я обожал Холмса и ненавидел Шерлока. Чтобы бороться с этим наваждением, я выдумывал бесконечные истории, основанные на прочитанном или выдуманные, чтобы придумать

новые имена для своих героев; долгое время одного из них я звал Гар. Все мои истории, которые я обыкновенно рассказывал себе перед сном, имели одну общую черту, которую я потом встречал у многих авторов приключенческих романов, в частности у **Жюль Верна**: в опасной и враждебной обстановке (среди морозов, диких зверей, кровожадных дикарей или ожесточенных преступников) положительные герои всегда ухитряются создать вокруг себя атмосферу безопасности и даже уюта, которую внешние опасности и катастрофы еще более усиливают.

Окном во внешний мир являлись также собрания толстых журналов в переплете, из которых я черпал много интересных сведений. Один из них под названием "Новь и **Мозаика**", простираясь от 1880 до 1910 года, стремился одновременно развлекать и воспитывать своих читателей. Там был **Военно-морской** отдел, где можно было найти сведения о новых изобретениях, например, о пулемете или, как они его называли, "митральезе" **Максимса**, и о бронированных военных кораблях, которые называли **"мониторам"**. Был специальный номер, посвященный юбилею королевы Виктории (1837-1897). Там подробно перечислялись родственные связи между царствующими домами Великобритании и России, рисовалась внушительная картина успехов британской техники и, главным образом, британского флота за эти шестьдесят лет.

Были также юмористические рисунки, надписи к которым я не всегда понимал или понимал по-своему. Помню один рисунок, где я впервые столкнулся с проблемой, с которой впоследствии встречался не раз: "обращение **времени**". Рисунок (или, вернее, серия рисунков) представлял чикагскую полностью механизированную колбасную фабрику. Потребитель приводил свинью, вводил ее в отверстие с одной стороны машины и получал с другой стороны грудку колбасных изделий - сосисок, окороков и т.д. **Передумав**, он засовывал колбасные продукты обратно в выходное отверстие, и из входного отверстия снова как ни в чем не бывало появлялась та же свинья, виляя хвостиком. Хорошенько подумав, я решил, что картинка лгала: фабрикант, который обещал **подобное**, был жуликом, а покупатель, способный поверить в такую чепуху, болваном.

Были в этих журналах и дамские моды. Многочисленные иллюстрации, включая рекламу, представляли дам в широчайших шляпах, украшенных пухом и перьями, облаченных в длиннейшие юбки и манто, которые совершенно невероятно сужались в талии. Ничего подобного я никогда не видел в жизни. Это была одна из тайн, к которой мой пытливый ум так и не подобрал в то время ключа.

Так обстояло дело с общим образованием. Любовь же к науке пробудила во мне **"Детская энциклопедия"**, которую я получил в подарок, когда мне исполнилось семь лет. Перевод (или, **вернее**, переложение с английского), вероятно, вышел в свет до революции, если судить по качеству бумаги, а также по **старому** правописанию (хотя на этот счет мои воспоминания смутны). Она состояла из восьми томов, от ста пятидесяти до - двухсот страниц каждый, обильно иллюстрированных и посвященных всем природным явлениям: от астрономии до биологии (хотя последняя называлась иначе - **жизнь?**), с объяснениями грозы, града, радуги, кипения и таяния, подъема воздушных шаров горячим воздухом и т.д. Я узнал, что свет идет от Солнца до Земли восемь с половиной минут и что болезни передаются нам крошечными существами, называемыми микробами, бациллами или бактериями. Тщетно пытался я определить для себя разницу между этими тремя типами малюсеньких врагов человека.

Я прочел, что самое полезное и питательное блюдо - это сливки (о которых, кроме того, что у Лариных их "мальчик **подавал**", я не имел понятия), затем масло, яйца. (Про холестерин авторы энциклопедии тогда, очевидно, еще не слышали.) Несмотря на то, что и масло и яйца были тогда в Москве дорогой редкостью, я их терпеть не мог, вероятно, потому, что, когда их удавалось достать, меня **заставляли** их есть. Во Франции я к ним привык и даже полюбил во время германской оккупации, когда они совершенно исчезли, а также после их возвращения с уходом немцев, когда врачи начали обвинять их во всех грехах: "Запретный плод им **подавай!**"

Благодаря энциклопедии я понял, почему молния видна до того, как слышен гром, как можно убедиться в том, что земля круглая, и почему австралийцы, которые стоят вверх ногами, не падают вниз. Я думаю, что именно там я впервые встретил и не без труда переварил мысль об относительности таких, казалось бы, незбылемых **понятий**, как **"верх"** и **"низ"**. Но округлость земли только перенесла в пространство задачу о "конце мира", которая меня иногда тревожила (и которая, как я понимаю, еще тревожит космологов сегодня). Иногда я бывал не согласен с моей возлюбленной энциклопедией: она объясняла, почему выстрел производит звук **"паф"**, когда все прекрасно знают, что это звук **"бум"** или, в крайнем случае, "пум".

Была глава об оптических иллюзиях, которая меня приводила в восторг. В ней были описаны очень простые опыты из забавной физики, которые, несмотря на то, что я прекрасно понимал их принцип, в моих руках почему-то не удавались. Об одном опыте я храню горькие воспоминания: в энциклопедии было написано, что

можно, не опасаясь пролить воду, **перевернуть стакан**, наполненный до краев водой и прикрытый листком бумаги, - атмосферное давление должно с избытком компенсировать земное тяготение. Логичность объяснения и простота - опыта убедили меня **воспроизвести** его, к сожалению, над столиком из красного дерева. Отказ атмосферного давления исполнить свою обязанность вызвал гнев моего отца и мог бы навсегда отбить у меня охоту к физике. Может быть, именно отсюда у меня до сих пор некоторое **недоверие** к предсказаниям теории. Я выразил это чувство много лет спустя в моей вступительной лекции в Коллеж де Франс, говоря о **"божественном** сюрпризе увидеть явление, предсказанное теорией там, где оно было предсказано, и таковым, как **предсказано"**.

Другой областью науки, где я себя чувствовал на высоте, была математика, или, вернее, ее скромная сестричка - арифметика. Я прекрасно считал в уме и обожал задачи по арифметике. Метрическая система еще не успела войти в наши учебники, и **разнообразие** старых единиц длины (верста, сажень, аршин, вершок, дюйм), поверхности (десятина), веса (пуд, фунт, золотник, доля) и т.д. давало авторам учебников повод для бесконечных упражнений в переводе одних единиц в другие.

Задачи с кранами, через которые вода вливается или выливается, столь любимые французскими учителями, встречались редко (нехватка ванн?) так же, как и встречи поездов, вышедших из пунктов А или В (преобладание однопутных **дорог**?). Чаше всего встречались задачи, где "некто" (это слово встречалось чаще **все**го в учебниках арифметики), купив чаю двух сортов, различных по качеству и цене, перемешивает их в известных пропорциях перед продажей по данной цене. Обыкновенно задавался вопрос: какова будет его прибыль? (Идеологическая непристойность **подобных** вопросов, очевидно, **унаследованных** от дореволюционных учебников, **по-видимому**, не смущала авторов.) Гораздо труднее были задачи, где указывались прибыль купца и вес смеси и надо было определить пропорции смеси. Я изловчился их решать с помощью хитроумных, но многословных рассуждений вроде: если бы "некто" сделал бы **то-то...**, он получил бы **столько-то...**, но тогда **бы...** и т.д. Когда, гораздо позже, я дошел до алгебры, механическое решение таких задач с помощью двух уравнений с двумя неизвестными меня корбило, как конвейерное производство могло бы оскорбить старого мастера-кустаря. Если я добавлю, что игра на рояле, рисование, пение и танцы, считавшиеся более или менее обязательными элементами образования **интеллигентного** мальчика, для меня были просто недостижимы, то этим завершу перечень своих способностей и жизненных интересов. Впрочем, скажу еще, что у меня была прекрасная память: мне достаточно

было прочесть **стихотворение** пару раз и перечесть его еще раз **перед** сном, чтобы бойко декламировать его на следующее утро. Как видно, несмотря на кое-какие пробелы начального образования, я был хорошо вооружен для школьных успехов.

В школу я начал ходить только в восемь лет. Почему так поздно, я не помню. Возможно, ввиду моего буржуазного **происхождения**, **из-за** жестокой нехватки учителей были затруднения с приемом меня в школу. В то время дети пролетариев (или считавшиеся таковыми) принимались в первую очередь. Но я не могу за это поручиться. От шести до восьми лет я учился дома частным порядком с учительницей, которая приходила ежедневно и занималась со мной два часа. Звали ее Вера Семеновна (фамилию я забыл). Я был к ней очень привязан и провел с ней два счастливых и плодотворных года.

В первый день она принесла с собой букварь с загадочным заглавием "Охота пуше неволи", над которым я долго ломал голову. Она научила меня прилично писать, правда, не без труда, так как у меня был ужасный почерк, обучила меня грамматике и синтаксису, заставила выучить наизусть большое число стихов и научила писать сочинения. В мое чтение, о котором я уже рассказывал, она мало вмешивалась. По арифметике она задавала мне много задач, которые я вскоре стал решать быстрее нее.

Осенью 1923 года я поступил в школу и ходил туда до весны 1925 года. Школа находилась в Кисловском переулке, где я тщетно пытался отыскать ее во время последней поездки в Москву в 1987 году. Ни один старожил на этой улице ее не помнил. В 1966 году была переиздана в России книжка, впервые вышедшая в свет в 1927 году, **"Дневник Кости Рябцова"**. Герой - Костя Рябцов - подросток пятнадцати лет. Дневник описывает его **пр**ебывание в школе с сентября 1923 до марта 1925 года, которое почти точно совпадает с моим собственным. Конечно, есть громадная разница между Костей, пятнадцатилетним подростком, к тому же вымышленным, и мною, реальным восьмилетним мальчиком, хотя я сам иногда сомневаюсь в своей реальности, так как тот мальчик далек от меня теперь и не только во времени. Проблемы половой зрелости и отношений с девочками, которые занимают много места в дневнике Кости, для меня тогда не существовали. Как для всех подростков, эти вопросы возникли в **свое** время и для меня, но, как я дал понять в начале рассказа, им нет места в этой книге. Мне кажется, что в некоторых отношениях Костя хотя и на семь лет старше, но простодушней и непосредственней меня (рожденный в рабочей среде и не окруженный книгами, как я, он, конечно, менее образован). Но я нашел в этой книге, тесно перемешанной с моими собственными воспоминаниями, ту **весь**

ма необыкновенную атмосферу, которая царила тогда в советской школе.

То было время смелых педагогических экспериментов. За порядком в классе следил и отвечал за него комитет, избранный учениками, так называемый **учком**, который принимал участие и в обсуждении школьной программы. Я помню, что так оно было и в моем четвертом классе, где я был самым младшим и где самый **"старый"** был старше меня лет на пять. Общественная и политическая деятельность занимали много места в школьном расписании. На первом месте была стенгазета, куда привлекали всех, но в первую очередь тех, кто умел хорошо рисовать. Они почти все свое время посвящали стенгазете. Рисовали фабрики и заводы, красноармейцев, рабочих и, конечно, вождей. Несмотря на мое усердие, меня окончательно освободили от участия в стенгазете после того, как предложенный мною портрет вождя был единогласно забракован как изображение козла. Кроме стенгазеты были разные кружки и многочисленные экскурсии на фабрики и в музеи.

Так, в начале 1925 года весь наш класс посетил мавзолей В. И. Ленина, в то время деревянный. Вряд ли есть в нашей стране (я хочу сказать во Франции) много людей, которые видели в мавзолее своими глазами Ленина, одного (в 1925 году), потом вместе со Сталиным (в 1956 году), потом снова одного (в 1961 году). Я помню смерть Ленина в январе 1924 года, мою искреннюю скорбь и лютый холод во время его похорон. Мне кажется, что до нашего отъезда из Москвы я никогда не слышал про Сталина и вторым после Ленина считал, как и все, Троцкого.

В школе часто бывали собрания, где мы обсуждали с учителями наши впечатления после экскурсий, а также возможности улучшить школьную работу и поведение. (Костя Рябцов утверждает, что учителей звали **"шкрабами"**, т.е. **школработниками**, но я ничего подобного не помню.) Ученики жаловались на холод и на нехватку писчей **бумаги**, перьев, чернил и книг. Я не знаю, была ли какая-либо польза от этих собраний, но меня, по крайней мере, они очень занимали.

Нехватка книг косвенно ответственна за один эпизод, который меня очень огорчил. Однажды, через несколько дней после начала занятий, учитель, открыв книгу, начал медленно читать, пригласив нас записывать в тетради прочитанное. Как это ни покажется невероятным, я объяснил для себя эту странную процедуру тем, что в руках учителя был единственный экземпляр книги и что поэтому надо было все записывать с его слов. Диктантов мы с Верой Семеновной никогда не писали, да я в них и **не нуждался**; я так много читал, что само понятие правописания мне было **чу-**

ждо. (Как жестоко отомстило мне правописание пару лет спустя, на французском языке!) Мой сосед вытащил **из-под** парты другой экземпляр книги и предложил мне списывать вместе с ним то, что учитель диктовал. Я охотно согласился: это было удобнее и скорее, чем прислушиваться к тому, что он мямлил. Каково же было мое негодование, когда на нас налетел **учитель**, назвав нас **мошенниками**, и категорически отказался поверить моим объяснениям, по правде сказать, довольно невероятным.

Теперь я хочу сделать скачок на пять лет вперед, на полторы тысячи километров к западу, из Москвы в Париж, и от оскорбленной невинности к хитрому обману. Наш преподаватель немецкого языка очень гордился упражнением, им изобретенным, которое заключалось в следующем: он диктовал очень медленно немецкий текст, а ученики должны были переводить его в уме на французский и сразу записывать результат перевода. После окончания диктовки он оставлял ученикам несколько минут, чтобы перевести свой французский текст обратно на **немецкий**, затем **собирал** тетради. Я скоро сообразил, насколько целесообразнее было бы записывать прямо немецкую диктовку учителя, а **затем** на досуге переводить ее на французский (опять обращение времени). Единственная предосторожность заключалась в том, чтобы записывать диктовку на **второй** странице. Поразительно, что никому, кроме меня, эта штука не пришла в голову и что сам я попался только на четвертый или пятый раз, когда учитель, наконец, удивился замечательному качеству моих переводов. Но я выкрутился, уверяя, что наивно считал, что в моих поисках эффективности не было ничего предосудительного. Вот как гнилой Запад разложил меня за пять лет! - Обратно в Москву!

Те из моих товарищей, которые хотели серьезно учиться, вполне могли это сделать: учителя были знающими и преданными своему делу и всегда были готовы отвечать на вопросы в классе или после занятий. Учеников, которые не хотели учиться, оставляли в покое: собрания **учкома**, работа над стенгазетой и всякая общественная деятельность давали им достаточно предлогов, чтобы не готовить уроков и даже не ходить в классы. Таким образом, они не мешали тем, кто хотел учиться. К тому же учеников пролетарского происхождения автоматически переводили в следующий класс, а остальные учились прилежно, так как им не раз объясняли, что революция не обязана воспитывать неблагодарных буржуев.

Каковы бы ни были слабости и достоинства этой системы, она не пережила нашего отъезда. (Здесь я, конечно, пишу о **том**, о чем слышал, но уже не мог наблюдать сам.) Понемногу вошли в силу экзамены, обязательное присутствие на уроках и

авторитарный порядок. Число уроков было почти удвоено (я еще ходил в школу только после обеда). Учкомы остались, но их влияние постепенно свелось к нулю. Число пионеров, своего рода бойскаутов, носителей красных галстуков и блюстителей нравов, значительно увеличилось. В мой первый год в школе в моем классе был только один пионер, но на второй год их число возросло до пяти или шести, в большинстве своем это были девочки. Мы считали их подлизами, пытавшимися возместить красными галстучками слабость в учебе; обвинение в высшей степени несправедливое, так как одна из девочек, первой надевшая красный галстук, считалась в классе второй ученицей. Я говорю *считалась*, потому что официально не было ни первого, ни второго, ни последнего ученика. Кто в классе считался первым учеником, легко угадать. Моей заслуги тут мало - семейная обстановка **"сдала мне крапленые карты"**.

Очень серьезной была угроза реформы, о которой поговаривали и которая закрыла бы **"буржуазным элементам"** вход во вторую ступень, куда я должен был поступить на следующий год. Если мама еще могла рассчитывать на свои бывшие заслуги в **красно-армейской** больнице, то отец (как фабрикант) был безнадежен. Я думаю, что угроза этого декрета (не знаю, был ли он в конце концов принят или нет) была главной причиной нашего отъезда. Мои родители не могли себе представить своих детей без высшего образования.

Сегодня трудно писать о Советской России, не затронув вопроса об антисемитизме, и я бы солгал, сказав, что в моих воспоминаниях он отсутствует. Все, что я могу сказать, это то, что я лично от него не страдал. Конечно, у нас во дворе (никогда в школе) случалось мальчишкам спросить у меня, зачем собственно мы Христа распяли, но спрашивали они вяло, и мой ответ их явно мало интересовал. Главную роль играло полное отсутствие государственного антисемитизма, и мои родители, как и я, твердо верили, что юдофобство пережиток царизма, который скоро исчезнет навсегда. Если, заканчивая описание этого первого десятилетия моей жизни, я захотел бы подвести ему итог, я **употребил бы** без всякой иронии слегка неудачное выражение главы французской компартии после ввода советских войск в Афганистан: **"общий баланс положителен"**. Я чувствовал себя хорошо в своей семье, я обожал свою мать и гордился отцом, я любил школу, но лучше всего я себя чувствовал среди своих книг и **мечтаний**. Могу употребить выражение, к сожалению, теперь модное во Франции, **"мне было хорошо в своей коже"**. Не скажу того же про мои первые двадцать лет на Западе, но это уже совсем другая и весьма длинная история.

II. Франция: отрочество, юность

Мадемуазель Бертен

Первая любовь

Столкновение с Западом. - Школа. - Семафу, семафу, сема-треграфу и другие недоразумения. - Кловис обнял культ своей жены или краткая история Франции

Когда мы высадились - мама, сестра и я - на платформе Северного вокзала в Париже 25 июня 1925 года, нас встретил дядя Давид, старший брат отца, который жил во Франции уже более двадцати лет. Он был поражен (или сделал вид), заметив большой чайник, который мама держала в руке и с которым мы путешествовали всю дорогу. Я запомнил этот пустяк потому, что он сразу задал тон нашим отношениям с родственниками отца, - дядей Давидом и его сестрой Раисой, которые жили в Париже уже много лет. Они были французами, или, вернее, парижанами, а мы были пришельцами с Востока, или, еще хуже, из Совдепии, которые были не знакомы с цивилизацией, что и служило поводом для снисходительного веселья.

Конечно, они были правы; я с самого начала сделал для себя странные открытия. В ресторане, куда дядя нас повел в первый же вечер, нам подали артишоки, которых я, конечно, в жизни не видал, с густым белым соусом. Будучи наблюдательным мальчиком, я сразу заметил, что листьями артишока набирали соус с тарелки и подносили его ко рту, но меня интриговали две вещи: почему пользовались именно тем концом листа, который был **меньше** всего похож на ложку, и почему каждым листом пользовались только один раз. После взрыва смеха, которым был встречен мой вопрос, я решил больше вопросов не задавать. Подали миску с неперемешанным зеленым салатом (еще одно блюдо, которого я никогда не видал), которую дядя, вместо того, чтобы передать даме, т.е. маме, поставил перед собой. Очевидно листья салата, которые были наверху, ему не понравились, потому что он все.

перевернул, чтобы найти **что-нибудь** получше на дне. То, что он там нашел, ему опять не понравилось, потому что он продолжал вертеть салат до тех пор, пока, окончательно разочаровавшись в своих поисках, не передал миску маме. Даже простой человек, как Сергей Романович, никогда бы себе такого не позволил!

Еще один сюрприз ожидал меня вечером: я открыл, что одеяло пришито к матрасу и что надо пролезать в узкое пространство между ними, что было крайне неудобно. У меня даже мелькнула мысль, что я попал в страну воров, где одеяло надо пришивать к **матрасу**, чтобы его не украли. Утром я убедился, что оно не было пришито, а просто концы его были подоткнуты под матрас, как принято во Франции. Несмотря на эти забавные случаи я скоро освоился с малознакомой обстановкой; краткие остановки в Риге и Берлине облегчили переход из одного мира в другой. Но главное потрясение - школа - было еще впереди.

По приезду во Францию я не знал ни слова **по-французски**. Здесь я, пожалуй, лгу: я знал **bonjour** (здравствуйте), **aurevoir** (до свиданья), **merci** (спасибо) и еще набор слов, менее необходимых в городской обстановке - **la poule, le coq, le canard, la vache, le chat, le chien** (**курица, петух, утка, корова, кошка, собака**). Этот маленький скотный двор был наследием одного утра, **проведенного** в семилетнем возрасте в частном детском саду. Его содержали две старые девы дворянского происхождения, которые перебивались как могли, преподавая французский язык. Их метод заключался в том, что детям показывали картинки и заставляли повторять их названия **по-французски**. **По-русски** говорить не разрешалось. Метод был, пожалуй, не плох, но я попал туда с детьми, которые уже учились в этом саду ранее и успели к нему привыкнуть. Попытка, потопленная в моих слезах, обучить меня французскому языку по этому методу, не была возобновлена. Я категорически отказался вернуться в то место, где со мной говорят на непонятном языке. Могу сказать лишь, что **из-за** отсрочки я ничего не потерял, как говорят во Франции.

Наша квартира в Париже находилась в XV квартале или "**ар-рондисмане**" (arrondissement). Ближайшим был лицей **Бюффон**. **Из-за** моего незнания французского решили более целесообразным на первый год поместить меня в частную школу, гордо называвшуюся "**Средняя Бретейльская школа**" ("**Ecole Secondaire de Breteuil**") и приютившуюся в тени лицея **Бюффона**. Итак, я вступил в первый раз во французскую школу 1-го октября 1925 года. Мне было десять лет и меня поместили в шестой класс.

Увы, сцена детского сада была разыграна заново без больших изменений. Мне особенно не повезло потому, что первым оказался урок латыни. Учитель написал на доске столбец французских

слов и напротив них перевод на латинский или, может быть, наоборот. Не понимая ни того, ни другого, "**разобрать**, кто зверь, кто человек", я не мог. Это было слишком. Я разразился слезами и плакал *весь* день. Во время перемен ко мне **подходил** надзиратель и говорил **какую-то** чушь, где выделялось слово "камрад", которое, как я знал, означало "товарищи", с которыми он, очевидно, приглашал меня поиграть, но я упрямо отказывался. На следующий день, посоветовавшись с директором, меня решили поместить в класс пониже. С легкой руки директора меня спустили вниз по лестнице сразу на три ступеньки - в девятый **класс**³. Я полагаю, хотя не могу поручиться, что директор определил у меня слабоумие в легкой форме.

Там я встретил мадемуазель Бертен, мою первую **любовь**, хотя и не мою первую любовницу. (Эта фраза является буквальным переводом с французского или с английского. Как "**maitresse**" **по-французски**, так и "mistress" **по-английски**, имеют оба смысла: любовница и школьная учительница. Боюсь, что вся соль моей невинной шутки растворилась в русском переводе. Есть теория, по которой суть шутки заключается в том, что в логической цепи снимается одно звено. Смех слушателя и связанное с ним удовольствие объясняются подсознательной гордостью своей способностью мысленно восстановить это звено. Именно поэтому шутки, которые надо объяснять, не смешны. После этого, если читатель не найдет мою шутку смешной, он будет знать почему.)

Мадемуазель Бертен была молода и хороша собой. Она правила твердой рукой в седьмом, восьмом и девятом классах (все три в одной комнате). Нас было около тридцати, большая часть учеников - в седьмом классе. Если Божьей милостью она еще жива (она **родилась** вместе с нашим веком), я хочу выразить ей здесь свою благодарность, и то, что я никогда не посмел ей высказать - свою любовь. Мама пригласила ее дать мне для начала несколько частных уроков французского языка. В арифметике я не нуждался в помощи и даже иногда слегка раздражал мою **дорогую** мадемуазель Бертен своим умением считать в уме быстрее нее.

Я провел неделю в девятом классе и месяц в восьмом. На Рождество я стал первым учеником седьмого класса, не просто считался, как в России, а был удостоен таковым медалью, которую мадемуазель Бертен собственноручно приколотла к моей

³Здесь надо **объяснить**, что во Франции классы пронумерованы в обратном порядке: за предпоследним классом, называемым первым, следует последний класс с выбором между "философией" (**Philosophie**, кратко **Philo**), которая ведет к гуманитарным наукам и так называемой "элементарной математикой" (**Mathématiques Élémentaires**, кратко Math Elera), которая ведет к точным наукам.

курточке. Я чуть не потерял сознание от гордости и блаженства. Когда я вернулся домой, мама меня поздравила, но медаль посоветовала снять: **"Интеллигентные** люди медалей не **носят"**, - кратко объяснила она. Ей не довелось увидеть, как раз в год я напяливаю свой **темно-зеленый**, расшитый шелком академический вицмундир, вешаю на шею орден и прикалываю сбоку звезду. ("Купишь фрак **темно-зеленый** и перо возьмешь", - как у Некрасова.) Может быть, прожив во Франции тридцать восемь лет, она бы смягчила свою непримиримость, но, когда она **умерла**, до Академии мне было еще десять лет. Мне понадобилось шесть месяцев, чтобы одержать решительную победу над своим лютым врагом - правописанием, о существовании которого я в России и не подозревал, и после шестидесяти (!) ошибок в моем первом диктante, достичь безошибочности.

В нашей маленькой школе каждое утро читали краткую молитву, а по пятницам длиннее. Одно оставалось тайной для меня даже после того, как я стал свободно понимать французскую речь. По пятницам во время молитвы ученики тыкали себя двуперстием в грудь и бормотали: **"Семафу, семафу, семаотреграфу"**, что, как мне казалось, смахивало более на славянское наречие, чем на французский язык. Мама не знала, что такое "семафу". Мне было неловко расспрашивать мадемуазель Бертен насчет обрядов, в которых я не принимал участия, но наконец я решился. Она мне объяснила, что это означало: **"C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma tres grande faute"**, т.е. **"Моя вина, моя вина, моя великая вина"**. Они каялись слишком быстро для меня.

В моих первых схватках с французским языком часто возникали недоразумения. Поводом для одного из них была так называемая **"Ligue du Bien Public"**; т.е. "Лига добра для **народа**", которую я понял как "Ligue du Bon Public", что значит "Лига хорошей публики" - название, которое, как выходец из СССР, я нашел возмутительным.

Здесь я прошу прощения у русского читателя за пропуск подробностей, взятых главным образом из французской грамматики и географии, которые в русском переводе потеряли бы всякую прелесть, предполагая, что она имела в оригинале (смотри выше примечание о механизме шутки). Но я хочу сохранить краткий обзор истории моей новой родины, как мы ее изучали в **приготовительных** классах в 1925 году под руководством нашей дорогой мадемуазель Бертен.

Я узнал что галлы, наши предки, ничего не боялись, кроме маловероятного падения неба на их **головы**, что **Кловис**, вождь франков, разбил суассонскую вазу, после чего он склонился и обнял культ своей жены (намек на маленькую непристойность,

которая испокон веков передается французскими школьниками из поколения в поколение); что Филипп-Август обнес Париж стеной; что Святой Людовик IX вершил правосудие под дубом; что Жанна д'Арк изгнала англичан из Франции и была вознаграждена сожжением; что Карл IX постреливал из пищали в протестантов (они же гугеноты); что Генрих IV, сторонник вареной- курицы по воскресеньям для каждого француза, считал, что Париж стоит обедни, и погиб от руки Равайяка, что Людовик XIV был "le Grand Roi" и объявил, что "Пиренеи больше не существуют"; что Людовик XV (про которого надо было знать, что он не сын, а не то внук, не то правнук Людовика XIV) сказал: "После меня хоть потоп"; что Мирабо (я путал его с писателем **Мирбо**, которого читала мама) приказал маркизу Де Брэзе рассказать своему хозяину про волю народа и силу штыков; что народ взял Бастилию; что Людовик XVI (опять не сын, а внук предыдущего) был гильотинирован со своей женой **"австриячкой"**; что Дантон сказал народу: "Смелости, смелости и еще **смелости**", - а затем палачу: **"Покажи мою голову народу"**; что челюсть Робеспьера была разбита Девятого Термидора; что Бонапарт перешел Альпы и добрался до египетских пирамид; что он победил при Аустерлице и в Москве (последнему я не верил, зная противоположную версию благодаря Толстому); что **из-за** опоздания Груши и вероломства англичан он попал на остров Святой Елены (здесь я знал все подробности благодаря Лермонтову); что он был отомщен Наполеоном III (почему III?), который взял Севастополь; что пруссаки Бисмарка вошли в Париж, но что Адольф Тьер "освободил территорию"; что Жоффр совершил чудо на Марне, а Фош - еще **где-то**; что немцы неохотно платили контрибуцию, и что президент Республики, господин Гастон Думерг, прозванный **Гастунэ**, правил судьбами Франции в 1925 году.

Таковы главные вехи истории моей новой страны от далекого прошлого до животрепещущей **злободневности**, как я их запомнил из обучения у моей дорогой мадемуазель Бертен. По естественности вместе с тем, что я почерпнул из **"Детской Энциклопедии"**, я знал, пожалуй, столько же, сколько мадемуазель Бертен.

Остальные предметы были рисование, чистописание и гимнастика. По рисованию, как был я безнадежным, так и остался. По гимнастике я имел **"удовлетворительно"**: вполне приличные результаты в беге и прыжках, довольно ловок в играх с мячом, слабоват на снарядах. Я полюбил коллективные игры, так называемые **"жандармы и разбойники"**, а также другие игры, название которых **по-русски** ни я, ни мой словарь не знаем. Я начал **робко** поигрывать в футбол на школьном дворе и стал счастливым обладателем велосипеда, на котором упражнялся на тихой улице,

где мы жили. Как ни странно, я преуспевал в том, что во Франции презрительно звалось **"наукой ослов"** - в чистописании (как и Гамлет, судя по тому, что он рассказывает другу Горацио, хотя чего только он ему ни рассказывает). Вооруженный стальным пером, я радостно выводил толстые и тонкие штрихи и вышел первым в последнем испытании благодаря фразе **"Гош усмирил Вандею"**. Я долго хранил эту работу - мои прописные Г и В были само совершенство.

Могу поздравить себя с тем, что приехал во Францию, не зная ни слова **по-французски**, ибо уверен, что именно этому я обязан тем, что сразу заговорил **по-французски** без малейшего акцента. Например, покойный Набоков, которого я однажды слышал по французскому телевидению и который прекрасно знал язык, говорил с легким акцентом, хотя в детстве имел французскую гувернантку, говорил дома **по-французски**, а в эмиграции жил много лет во Франции. Итак, за год я наверстал свое опоздание. Правда, не совсем, в шестой класс я поступил в одиннадцать лет вместо десяти. Господи! Что это по сравнению с тем, что **обстоятельства** еще готовили мне! Это опоздание я легко наверстал, перескочив из четвертого класса во второй.

Я сделался мальчиком, как все, хорошо учившимся, разделявшим игры и забавы своих товарищей, одним словом, вполне освоился. И все-таки я смутно подозреваю (если не тогда, то теперь), что каким-то образом (не знаю, хорошо это или плохо) стал более заурядным, чем прежде. Это было первым, но далеко не последним переломом в моей жизни.

Золотая пятилетка

Капитолий

Туалеты и прически. - Перевод с латыни как ключ к науке. - Белые одежды. - Отказ от греческого или опрометчивое решение. - Крестины. Литературные сочинения или болтовня. - Переменчивая математика. - Физика наконец! - Страсть быть первым

На следующий год я поступил в ближайший к нам лицей **Бюффон**. На улице Фремикур, по которой я ходил в школу, находился громадный гараж для такси и было не менее двадцати бистро. За ней следовал бульвар **Гарибальди**, где жило тогда немало марокканских рабочих. Раз, возвращаясь домой по бульвару с товарищем, **"взрослым"** пятиклассником, мы прошли мимо **низ-**

кого здания, перед которым стояло несколько марокканцев. "Что они тут делают?" - спросил я. "Ждут, когда бордель откроют", - сказал он и захихикал. Я тоже хихикнул, а придя домой, спросил маму, что такое "бордель". Она не знала. Я поискал это слово в своем маленьком словаре, но его там не было. В гостях у дяди Давида я заглянул в его большой словарь и нашел: "публичный дом". Не думайте, что этот ответ поставил меня в тупик. Я как раз в это время читал "Воскресенье" и знал, что **"публичный дом"** - это то место, куда попала Катюша **Маслова**. Я не знал *точно*, что это такое, но догадывался, что там шумно и некрасиво веселились. Как мало это было похоже на терпеливое, грустное и безропотное ожидание тех марокканцев на тротуаре!

По совету дяди Давида, который прослышал об истории с марокканцами (сам он жил в элегантном XVI округе), меня **поместили** в лицей Жансон де **Сайи** (Janson de Saily) подальше от сомнительных встреч. Этот лицей был "Лигой хорошей публики", если воспользоваться моим превратным переводом слов: **"Ligue du Bien Public"** (см. выше). Три года тому назад праздновали столетие нашего лицея, и я получил приглашение на **банкет**, где должны были собраться несколько поколений бывших учеников. В качестве академика я мог надеяться на место за почетным столом, возглавляемым бывшим **премьер-министром**. Я поленился и на банкет не пошел, но теперь, когда пытаюсь заглянуть в свое прошлое, мне немножко жаль, что я отказался от этого последнего взгляда в невозвратное. Наверное, будут праздновать и **стопятидесятилетие**, но без меня, каковы бы ни были будущие успехи медицины. ("Чем чаще празднует лицей свою святую **годовщину**...")

Ученики лицея, где я проучился до поступления в университет, принадлежали в большинстве своем к "Лиге хорошей публики". Лицей состоял из двух частей: *малой* - до четвертого класса включительно - и *большой*. Утром у ворот лицея всегда оставалось несколько роскошных машин [Hispano **Suiza** (**"испано-сюиза"**) или Delage (**"делаж"**)], из которых вылезали лицеисты. А мы (т.е. те, кто приезжал на метро) торопились задать шоферу бестактный вопрос, свободен ли он, делая вид, что принимаем его за таксиста. Кроме представителей добропорядочной французской буржуазии в Жансоне учились (если только *"учились"* подходящее в этом случае выражение) **"роскошные"** иностранцы из Южной Америки, Египта, Персии, Ливана, у которых карманы были туго набиты деньгами. Почти все они были **пансионерами**, т.е. жили в лицее и составляли среди учеников слегка сомнительную аристократию. Все пансионеры считались **"dessalés"**, буквально "обес-

соленными", т.е. полностью осведомленными относительно всего, что касалось секса. Они были для нас также законодателями мод.

Модными тогда были прически, как у кинозвезды Рудольфа Валентино. Волосы гладко приглаживались и склеивались какой-то косметической гадостью так, чтобы выглядеть, как поверхность катка. Чтобы укрепить эту куаффюру, пансионеры появлялись утром в сетке, украшавшей их головы до начала первого урока. Иные пытались сохранить ее на голове даже во время урока, вызывая негодование учителя. Плечи их пальто были щедро подбиты ватой, сзади производя впечатление, что вместе с пальто надели и вешалку, талия была узка, а зад туго обтянут.

Сложный переход из детства в отрочество, т.е. из коротких штанов в брюки, проходил через промежуточную часть одежды, название которой я затрудняюсь перевести. Во Франции это называлось "culotte de golf", т.е. буквально "штаны для игры в гольф". В Англии это звалось "plus-fours", т.е. "плюс четыре", названное в конце прошлого столетия так потому, что на пошив их в расчете на каждую ногу уходило на четыре дюйма больше сукна, чем на короткие штаны. В Америке такие штаны назывались "Knickerbockers" по имени господина Кникербокера, который ввел их в моду по ту сторону Атлантического океана. Мой словарь пытается меня уверить, что по-русски это "бриджи", но я думаю, что он врет, так как другой словарь (вернее, его брат) уверяет, что "бриджи" - это "узкие в коленях брюки, заправляемые в сапоги", что совершенно не соответствует естеству штанов, которые я пытаюсь описать.

Такие штаны носили с шерстяными чулками, концы штанов застегивались пряжками слегка ниже колена, и они ниспадали на икры широкими складками. Чем шире складки, тем считалось шикарнее⁴. Я говорю о том, что было в прошлом, потому что во Франции их никто не носит уже лет пятьдесят. Но в мое время брюки-гольф были своего рода символом перехода из детства в отрочество. Теперь проще: в любом возрасте от пяти до пятидесяти носят джинсы.

Когда мне исполнилось тринадцать лет, я уговорил маму сходить со мной в универмаг "La Belle Jardiniere" ("Прекрасная садовница"), который мы оба считали (ошибочно) верхом парижского шика, и заказать мне там костюм со штанами описанного вида. Костюм был в мелкую клетку, пиджак с хлястиком, а штаны ниспадали ниже икр и могли бы скрыть в своих широчайших складках все сокровища Аравии. Первое время мне разрешалось его носить только по воскресеньям; я не возражал, боясь

⁴Насколько я помню, эти штаны по-русски называли гольфами или гольфиками. - Примеч. ред.

подвергнуть свое сокровище грубым сшибкам во время школьных перемен.

Переход из маленькой частной школы в громадный лицей Жансон прошел безболезненно, так как изменение было скорее материальным, чем духовным. На место мадемуазель Бертен пришло несколько учителей, все мужчины (непостоянный влюбленный, я скоро забыл мадемуазель Бертен). Каждый класс теперь был разбит на несколько параллельных отделений. Барабан сменил звонок, объявлявший перемены, задания писались не в тетрадях, а на отдельных двойных листах и т.д. Но в своей краткой жизни я уже успел перенести много куда более значительных перемен!

Все наши учителя имели диплом, свидетельствующий, что они успешно выдержали специальный сложный конкурс. Теперь, когда число лицеистов увеличилось в двадцать раз по сравнению с моим детством, лишь немногие из сегодняшних учителей имеют этот престижный диплом. Одевались учителя изысканно: котелок, твердый накрахмаленный воротничок, штилеты с застегнутыми сверху серыми суконными гетрами, зонтик или трость. Все это теперь давно кануло в вечность, но тогда только самые молодые отчаянные смельчаки позволяли себе явиться в школу в мягком воротничке или без головного убора. Но, пожалуй, довольно про эти низменные подробности туалета, перейдем к наукам.

Больше всего я полюбил предмет, который у нас назывался "латинская версия" (Version latine), т.е. задача состояла в передаче латинского текста на французский язык. Обратным упражнением, переводом с французского на латинский, была так называемая "латинская тема" (Theme latin). Я нашел в латинской версии все то, что позднее стало основой моей карьеры исследователя и преподавателя: потребность как понять, так и ясно изложить то, что я понял. Не преувеличу, сказав, что для меня латынь в средней школе явилась единственной настоящей подготовкой к научной деятельности и наилучшей тренировкой для точного и ясного выражения моих идей.

В четвертом классе наш учитель, который, очевидно, разделял те же взгляды, после проверки задания диктовал нам свою собственную образцовую версию перевода. "Вы не должны рабски следовать букве оригинала, ваш главный враг - искажение смысла", - не однажды повторял он. Правда, я считал, что он позволяет себе вольности в переводе, в которых нам отказывает; и однажды он даже преступил границы. Речь шла о триумфальном приеме Сципиона Африканского римлянами, собравшимися в большом количестве на берегах Тибра. "Я думаю, что не было бы слишком смело сказать, что набережные чернели толпой", - заявил он. Я поднял руку в знак протеста. "Не будьте педантом,

Абрагам", - попытался остановить он меня с оттенком легкого раздражения (я почему-то весьма часто, хотя невольно, раздражал своих **учителей**), - "это вполне допустимая **вольность**". - "Но, господин учитель, в предыдущей фразе сказано, что они все надели белые **одежды**", - возразил я.

В том же году я отказался от изучения греческого языка, что **навсегда** развело меня с гуманитарными науками. Это был **совершенно** безрассудный шаг, первый из длинного ряда аналогичных в моей жизни. Но тому были свои причины. С первого урока я страшно невзлюбил учителя греческого языка. Я не **переносил** его гримас и нервного тика, но не посмел рассказать маме настоящую причину моей неприязни к греческому и постарался убедить ее, что изучение его было бы для меня потерей времени, которое лучше употребить на более важные предметы. В свое время мама изучала латынь, но греческого она совсем не знала. Поверив мне, она пошла просить директора о моем переводе в другой класс. Директор не разделял моей антипатии к **греческому**, и бедная мама вынуждена была сочинить ему про мое слабое здоровье, чтобы добиться обещанного мне освобождения. Узнав о моем переводе, учитель греческого сообщил мне между двумя гримасами, что сожалеет о моем уходе, так как я казался ему предназначенным для изучения этого предмета.

Уроки французской словесности привлекали меня меньше, чем латынь, но я охотно писал сочинения на разные темы. В пятом классе, т.е. через два года после приезда во Францию, хотя я считал себя уже стопроцентным французом, маленький инцидент показал мне, что я явно преувеличивал. Помню, нам задали **сочинение** на тему "**Деревенские крестины**" (католические, конечно). Я был, безусловно, прекрасно подготовлен всем своим прошлым к описанию этого обряда, но решил собрать кое-какие **дополнительные** сведения у своих школьных товарищей, которым случалось присутствовать при таких событиях. Один из них сказал мне: "Малышу делают **омовение** (*lavement*) святой водой". В этом не было для меня ничего странного, и я так и написал в своем сочинении. Откуда я мог знать, что, хотя слово "*lavement*" действительно буквально означает "омовение" и происходит от глагола "**laver**", т.е. мыть, у французов оно употребляется в одном единственном смысле, а **именно**... клизмы. Я убежден, что моему товарищу просто захотелось сострить и ему и в голову не пришло, что я мог не знать смысла этого слова. К сожалению, это не пришло в голову и учителю. Он обвинил меня в кощунственной насмешке над обрядами, которые даже неверующие (такие, как я) обязаны уважать. Я не знаю, поверил ли он моим уверениям в

невинности, но главное - никто из учеников им не поверил, и я заработал на этом незаслуженную репутацию остряка и хулигана.

Начиная с четвертого класса, но, в основном, во втором и **первом** классах (напомню, что во французской школе отсчет классов идет в обратном порядке), мы часто писали сочинения, и хотя я успешно справлялся с ними, но не **любил** это **занятие**. Я быстро научился разным фокусам, которые позволяли накатать достаточно пошлостей, почерпнутых из учебника литературы, чтобы получить приличную отметку, не утруждая себя серьезным чтением оригинальных произведений, но я ненавидел и презирал это занятие.

Нас поощряли посещать по четвергам (в те времена это был выходной день в школе) дневные спектакли классиков в народном театре Трокадэро. Старый Трокадэро (снесенный в 1937 году) был замечателен своей странной акустикой: там было такое эхо, что, если вы пропустили **реплику**, была вторая и даже третья возможность ее услышать. Я помню знаменитый стих **Корнеля** "Чтоб он погиб" ("**Qu'il mourût**"), который обошел зал несколько раз.

Изучение французской литературы в старших классах - одно из моих самых неприятных воспоминаний. Мало сказать, что оно меня ничему не научило, оно отбило у меня интерес к **французским** классикам и даже романтикам. И сегодня я с удовольствием перечитываю Свифта, Шекспира, Гиббона, Джонсона, Дефо (не говоря уже о русских **классиках**), но после окончания лицея я вряд ли когда-нибудь открывал Рабле, Корнеля, Расина, **Боссюэ**, Фенелона, Ламартина или Виньи. И если у меня не отбили вкус к Мольеру, у этого гения должно было бы быть девять жизней, как у кота.

В изучении математики было несколько фаз. В шестом и пятом классах арифметика не дала мне ничего нового по сравнению с тем, чему меня научила мадемуазель Бертен, и, пожалуй, с тем, что я привез с собой из Москвы. В четвертом классе я начал геометрию "с левой ноги". Мой новый учитель был тупица; он сразу невзлюбил меня, а я его. Не знаю, кто первый начал. Возможно, я. Мое отношение к учителю греческого уже показало, насколько мог я быть нетерпимым. Результат первой контрольной работы подобен был кораблекрушению, по крайней мере, для такого претендента на первые места, каким был я. Я оросил его горькими слезами (это в тринадцать **лет!**), которые ухитрился **все-таки** скрыть. "Выплыл" я не благодаря учителю, а вопреки ему, потому что планиметрия оказалась гораздо более занимательной, чем все то, чему меня обучали раньше.

Надо полагать, что я закончил учебный год удачнее, чем начал, потому что учителя единогласно разрешили мне перескочить через

третий класс: перейти из четвертого сразу во второй. Там меня ожидало новое затруднение - алгебра, - которую начинали как раз в третьем классе. Мой тезка, **Анатолий Десерф**, учитель математики (имя которого **вошло** легендой в историю **Жансона**), замечательный педагог и милейший человек, помог мне опять вскарабкаться на первое место, несмотря на скучную программу (в то время как в четвертом классе было наоборот - скучный преподаватель, но интересная программа).

Физика, которую в те времена во Франции начинали довольно поздно - во втором классе, - оказалась сплошным восторгом. Мой первый учитель, молодой блестящий педагог Робер Массэн (Robert Massain), ввел меня в волшебный мир. Для него, как и для меня, это был первый год физики в Жансоне. Я вновь открыл с ним все то, что когда-то полюбил в своей **"Детской энциклопедии"**, но теперь не только качественно, но и количественно. Тридцать лет спустя я снова с ним встретился на моей вступительной лекции в Коллеж де Франс. Он скончался весной 1987 года в восемьдесят пять лет. Светлая память ему.

Тем не менее именно с ним связан самый неприятный эпизод моей школьной жизни. Во время первой же контрольной **работы**, легко разделившись со стандартными вопросами, я взялся за задачу и тут **"плотно сел на мель"**. Мои душевные страдания были удвоены боязнью разочаровать господина **Массэна**, который уже успел отличить меня как своего лучшего ученика. Ключ к решению находился в алгебраической формуле, которую я не знал и не мог знать потому, что ее проходили в проклятом третьем классе, через который я недавно так лихо перескочил. Мой **сосед** подсказал мне эту формулу, и я моментально решил задачу. Легко угадать, что из этого вышло. Я попал на первое место, а он - на второе. Мучимый угрызениями совести, я хотел во всем признаться господину **Массэну**, но мой добрый сосед, который был настолько же лишен духа соревнования, насколько я был им обуян, уверил меня, что у него нет ко мне претензий и что единственным результатом моего чистосердечного признания было бы наказание нас обоих. Он легко убедил меня, хотя совесть еще долго не давала мне покоя.

Учитель физики, который мне достался в первом классе, был зловредным ничтожеством. Он пользовался запутанностью своих объяснений, чтобы заставить как можно большее число учеников своего класса брать у него частные уроки. Это обеспечивало им удовлетворительные оценки, но и только. При одной мысли, что он мог бы оказаться моим первым учителем, мороз пробирал по коже. Но он пришел слишком поздно (на *второй год*), чтобы причинить мне большой вред.

Зато учителем математики остался все тот же прекрасный Анатолий Десерф. Это было не лишним, потому что программа первого класса - стереометрия и бесконечные вариации на тему алгебры трехчлена второго порядка - была крайне скучна.

Из иностранных языков был выбор между немецким и английским. Я выбрал немецкий, на котором, после пяти лет изучения его в школе, не способен ни говорить, ни писать. В защиту своих учителей скажу, что, узнав на выпускном экзамене о **возможности** выбрать русский язык, я занимался немецким "спустя рукава". Читателю полезно узнать, что выпускной экзамен на звание бакалавра называется **Бакалауреат (Baccalauréat)**, и сокращается как **Башо** (Bachot) **или**, еще короче, **Бак** (Bac). Бак состоял из двух частей: первый Бак - в конце первого класса, второй - в конце **Фило** (Philo) или **Мат Элем** (Math Elem) (см. ниже).

Я рад, что не изучал английского в лицее. Мне приходится часто пользоваться этим языком, и свое приличное произношение объясняю тем, что не изучал английского в лицее. Наконец, **чтобы** завершить обзор моего среднего образования, несколько слов скажу об истории и географии. С географией, которую я терпеть не мог, я справлялся лишь благодаря своей прекрасной памяти. Зато любил историю, которую мы проходили по классическим учебникам Мале и Исаака (**Malet et Isaac**) и по которым **воспитывались** в течение пятидесяти лет французские школьники. Из учителей истории мне дорога память о Шарле **Андре Жюльене** (Charles Andre Julien), который позже стал профессором университета и Учителем целого поколения французских историков. Он был одним из смельчаков, ходивших без шляпы и в мягких **воротничках**, но, как говорится, не только этим он мне дорог. Он обращался с нами не как с учениками, а как со студентами и объяснял нам, что история это не только короли и сражения, но и люди, их обычаи, их цивилизация и экономическое развитие.

Забавное последствие моего перескока из четвертого класса во второй - зияющая пропасть в моих исторических познаниях между сражением при Бувине (**Bouvines**) в 1214 году и убийством Генриха IV Равайаком в 1610 году. Я знаю приблизительно, что было до и что произошло после, но между ними - черная дыра.

Первый Бак приближался, я его ожидал без трепета и не был разочарован, так как преуспел во всех **предметах**.. Помогла и высшая оценка по русскому языку, но немного, так как удельный вес этого предмета был мал. Экзамены держали не в Жансоне, а в Сорбонне, в огромном зале, где собирались ученики из **нескольких** лицеев. На письменном экзамене по русскому языку я сидел рядом с лицеистом русского происхождения (в большинстве именно они выбирали этот предмет) по фамилии Гофман. Я снова

увидел его несколько дней спустя на устном экзамене вместе с бородатым господином, его отцом. Гофман старший спросил у меня, чувствую ли я себя хорошо подготовленным к экзамену. Я **"скромно"** ответил, что знаю больше, чем экзаменатор, и что этого мне достаточно. Экзаменатором по русскому оказался Гофман старший, известный пушкиновед, что меня немного смутило. Но я его приятно поразил тем, что назвал среди современников Пушкина Батюшкова, одно упоминание которого считалось тогда слегка неприличным, и получил высшую отметку.

Так я с блеском завершил свои первые пять лет в Жансоне, золотую пятилетку, пятилетний стаж первого ученика. "Но по-дождем конца", как сказал дедушка **Крылов**, или **"недалеко"** от Капитолия до Тарпейской скалы", как говорили римляне.

III. Взрослые годы

Ложный старт

Тарпейская скала

Второй безрассудный поступок: выбор медицины. - Мат Элем: я трещу, но не ломаюсь. - Не выношу будущих эскулапов. - Не переношу больных. - Вовремя ретируюсь

Я всегда был ленив. Это не показная скромность. Шаблон **одаренного**, который легко обгоняет трудолюбивого зубрилу и преуспевает не трудясь - сказка, выдуманная теми же **одаренными**, чтобы пускать пыль в глаза родителям и товарищам; они трудятся не меньше других, но тайком. Без труда не создается ничего великого или просто добротного; по крайней мере, это так в науке, но, я думаю, в искусстве то же самое. Во всяком случае, все великие физики, с которыми мне случалось **встречаться**, трудились, как выючные животные. Разумеется, одного труда недостаточно, нужны еще и другие способности. Но среди тех, которые обладают этими *другими способностями*, иным работа дается легко, без усилий, и это, безусловно, тоже дар, пожалуй, самый **драгоценный**, в то время как на других работа наводит уныние. Ко второй категории принадлежал и я, и именно в этом смысле я говорю о себе "я ленив".

Я работал не больше других, пожалуй, даже меньше, но стоило это мне дороже. Я не мог победить свою леньность без **какого-нибудь** толчка, внешнего или внутреннего. Оглядываясь на свою золотую пятилетку, я должен признать, что таким толчком редко являлся интерес к предмету. Латинская версия, безусловно планиметрия (вопреки учителю), история в четвертом классе (благодаря учителю), физика во втором классе (благодаря предмету и учителю), - вот и все. Во всем остальном мною двигал дух соревнования, поощряемый нашей школьной системой.

Скоро я стал тяготиться атмосферой постоянного соревнования. Перед переходом из четвертого класса во второй я предупредил об этом маму ("если я не останусь в первых учениках, по крайней мере, у меня будет отговорка"). Увы, я не смог сорвать с

себя отравленную майку лидера и остался первым учеником и во втором, и в первом классе. В Мат Элем я не устоял. Были разные причины тому, что случилось это именно в Мат Элем. Уже в первом классе я начал размышлять о своем будущем. Перед *одаренными* тогда (и, как мне кажется спустя почти шестьдесят лет, теперь) открывались две столбовые дороги: **Фило (Philo)** и **Кань (Khâgne)** или **Мат Элем (Math Elem)** и **Топ (Taupe)**. Эта тарабарская грамота нуждается в объяснении. Во французских лицеях после второго *Бака* лучших учеников оставляли еще на два года в специальных классах для усиленной подготовки ("накачки") к очень сложному конкурсу для поступления в так называемые *большие школы* (Grandes Ecoles). Из выпускников этих *больших школ* вербовались, между прочим, все высшие чины французского государства.

Первой из *больших школ* с научной программой считалась знаменитая *Политехническая школа (Ecole Polytechnique)*, выпускников которой в этой книге для краткости я буду называть *политехниками* (Polytechniciens), а эту школу *Политехникумом*. Подготовительный класс, как я уже сказал, зовется *Топ (taupe)*, что *по-французски* означает крот, а ученики зовутся *топенами (taupins)*.

Путь к гуманитарным наукам пролегал через *Педагогический институт (Ecole Normale Supérieure)*, а готовил туда класс с таинственным названием *Кань (Khâgne)*. *Кани* в Жансоне не было, но все равно я не знал греческого, а гуманитарные науки без греческого - это постель без подушки или, как говорит **Анатоль Франс**, женщина без груди.

Были еще в Жансоне и другие подготовительные классы: в военную школу Сен-Сир (Saint-Cyr), в морское училище (Ecole Navale), в **Агро** (Агрономический институт) и другие.

В лицее у топенов был свой двор, где на переменах они играли в мяч. Когда их мяч попадал на наш двор, они требовали властным гласом его моментального возвращения. Один раз их мяч почему-то задержался у нас. Разгневанные топены послали за ним карательную колонну. Это оказалось неблагоразумным шагом. Я был тогда во втором классе, три или четыре года отделяли меня от них, и я благоговел перед ними. Теперь я впервые увидел их вблизи и убедился, что большинство из них были очкариками хлипкого сложения. Мой товарищ Азиз, краса и гордость пансионерской гвардии, был только в третьем классе, но физическое развитие его далеко обогнало умственное. Он схватил за шиворот самого горластого топена, повернул его и, как котенка, отшвырнул пинком в зад на несколько шагов. Топены отступили в беспорядке, угрожая отомстить, но больше на наш двор не

возвращались. В тот день великий Политехникум потерял свой престиж в моих глазах. Кроме того, я слышал от старших братьев и своих товарищей, что соперничество у нас было детской игрой по сравнению с борьбой не на жизнь, а на смерть, которая кипела между топенами, а меня такого рода отношения больше не привлекали.

Что же еще? Я восхищался великими адвокатами тех времен и вполне возможно, что у меня были качества, чтобы стать неплохим адвокатом. Но надо знать, что собой тогда представляли парижский юридический факультет и парижское адвокатское сословие - слегка правее Чингисхана. Мое происхождение и политические взгляды, которые начинали проявляться, исключали юридический факультет.

Оставалась еще медицина, и я выбрал ее. Но не только путем исключения. Я тогда недавно закончил читать роман Синклера Льюиса "Эроусмит" (Arrowsmith), который произвел на меня глубочайшее впечатление. Это была история молодого врача, его исследований в разных научных институтах, его разочарований в карьере, трагической гибели его молодой горячо любимой жены во время эпидемии чумы, с которой они оба боролись. И я решил, что буду, какое там **Эроусмитом**, более упорным в научной работе и более надежным защитником здоровья моей возлюбленной жены. Возражения матери окончательно укрепили меня в этом решении. Мама считала медицину самой последней профессией. Она достаточно страдалась и знала, о чем говорит. Я же, по ее словам, выбрал путь наименьшего сопротивления. Смутное сознание, что в этом есть доля правды, еще более укрепило мое решение.

Учитель математики в Мат Элем в начале учебного года каждому из нас задал вопрос, какую большую школу он себе выбрал на следующий год. Когда пришла моя очередь, я гордо ответил: **"Никакую, я иду на медицинский факультет"**. Таких, как я, в классе было немного. В те времена медицина считалась полугуманитарной профессией, и будущие медики выбирали в большинстве не Мат Элем, а Фило. Учитель, который смотрел на класс, как на своего рода шлюз для перевода лучших учеников в Топ, перестал мною интересоваться, что подействовало на меня удручающе. По физике я сохранил прошлогоднего учителя, о котором уже рассказал раньше.

Что же еще? Еще мне было шестнадцать лет - возраст Ромео, но Ромео я не был. Я полагаю, что все ясно, рисунка не нужно. Да и *что* рисовать?

В Мат Элем я впервые столкнулся с Лораном Шварцем (Laurent Schwartz), который должен был стать впоследствии одним из крупнейших французских математиков. В предыдущих классах он

всегда был первым **учеником**, как и я, и наши учителя рассматривали нашу будущую встречу в Мат Элем как столкновение двух титанов. Они ошибались: у одного из титанов оказались глиняные **ноги**, и этим титаном был я. Никакого столкновения не вышло, я не получил ни одного первого места на контрольных работах и, конечно, ни одной награды в конце года. Я солгал бы, сказав, что моя гордость не страдала. Но, не участвуя в финишной погоне за призами, я, вероятно, страдал меньше, чем если бы был побежден в упорном соревновании.

Как лисица в басне, я утешался мыслью, что будущий врач и благодетель человечества не нуждается в пустых погремушках, которыми я наслаждался вполне в недалеком прошлом. После **второго Бака**, который по старой привычке я выдержал с отличной степенью, в то время как мои товарищи оставались пленниками лица, мне предстоял прыжок в неизведанное - в университет. **"Что-то** манило меня в университет; в словах *студент, профессор, аудитория, лекция* заключалась для меня какая-то необъяснимая прелесть; **что-то** свободное, молодое и умное представлялось мне в студенческой жизни; мне хотелось не кутежей, не шалостей, а каких-то неиспытанных еще ощущений, полезной деятельности, высоких стремлений, которым я не мог дать тогда ни имени, ни определения, но на которые непременно рассчитывал **наткнуться** в стенах **университета**." Эти строки, написанные Писаревым в его знаменитой статье **"Наша университетская наука"** в 1862 году, довольно точно передают мои чувства, когда через семьдесят лет после него, семнадцатилетним юношей я вступил на порог отделения Факультета наук на улице Кювье (**Cuvier**) (рядом с зоологическим садом), где преподавался подготовительный курс ФХЕ ("физика, химия, естественные науки") для **студентов-медиков**.

ФХЕ был одногодичным курсом, преподававшимся на факультете наук и завершавшимся выдачей диплома. За ним следовал пятилетний курс медицины, который проходили в Медицинской школе, в самом сердце студенческого, Латинского, квартала. В те дни экзамен ФХЕ был единственным серьезным барьером, через который будущий доктор должен был перемахнуть перед тем, как повесить свою вывеску у входа в кабинет. Французские врачи моего поколения могут возмутиться, если эти строки попадут им на глаза, но так оно и было. Тем, которые хотели серьезно изучать медицину, ничто не препятствовало, но и лентяи могли стать врачами после восьми - девяти лет занятий (или десяти и т.д., если у них хватало терпения, а у родителей денег). Поэтому ФХЕ учили, или, вернее, зубрили, усердно. Некоторые уезжали учиться на этот год в какой-нибудь крупный провинциальный город, где экзамен ФХЕ считалось сдать легче, и возвращались

с драгоценным дипломом в кармане в Парижскую медицинскую школу.

Зубрежка была первым разочарованием, вернее вторым, первым было изгнание в глубь Зоологического сада, куда не доносились веселые звуки Буль Миша. (Буль Миш - сокращенное название бульвара Сен Мишель, главной магистрали Латинского квартала). Были постоянные контрольные работы, которые звались *клеяками* (*colles*) и на которых необходимо было блеснуть (правда, совсем не **необходимо**, но, несмотря на мою неудачную Мат Элем, я еще не избавился от замашек первого ученика).

Теперь несколько слов о лекциях по четырем предметам: физике, химии, зоологии, ботанике. В моей вступительной лекции в Коллеж де Франс я так описал курс физики в ФХЕ: **"Длинная, тусклая дорога, выходящая вокруг катетометров, поляриметров, сахариметров и кошачьих шкур"** (последние для производства статического **электричества**).

Не знаю, сколько лет было профессору *химии*, но он считался маститым. Его душистые седины внушали больше уважения, чем его ученость.

Профессор *зоологии* был непримиримым модернистом. В связи с электрическими токами, наблюдаемыми в мускулах, он любил красноречиво рассуждать о единстве всех естественных наук и о роли, которую физика и химия будут играть в будущем. К сожалению, между этими полетами красноречия он засорял нам мозги ужасающей терминологией, связанной с разновидностями животных; по сей день, более полувека спустя, их названия всплывают в моем бедном мозгу, как сказка в пересказе глупца, полная **трескучих** слов, ничего не значащих. **Малакостраты** и гефираты, нематоды и трематоды, **флагеллаты** и флагелланты (тут я вру, **последние** - секта). Есть среди них **ануры** и инермы, замечательные имена для романтических героев и героинь, хотя первое означает **"без хвоста"**, а второе **"без игл"**.

Весьма неожиданно **ботаника**, предмет, который меня привлекал меньше всего, оказался самым интересным, потому что **профессор**, который читал этот курс, был первоклассным ученым. Кроме лекций, которые читались по утрам, после обеда были практические работы (или ПР), три часа в неделю по каждому предмету. Мое описание лекций по физике можно применить без изменения и к ПР по физике.

ПР по зоологии убедили меня, что если врачом я еще мог бы стать, пожалуй, то хирургом - никогда; я был не способен сделать прямой разрез скальпелем. Хуже того, анатомические исследования крыс, глистов, улиток и некоторых иных, о которых я предпочитаю забыть, вызывали у меня физическое отвращение -

плохой знак для медицинской профессии. После препарирования надо было зарисовать результат, а, как признался я уже раньше, рисовал я безобразно. В первый раз в жизни я оказался в хвосте класса. С ботаникой было не легче: надо было с помощью острой бритвы препарировать тончайшие поперечные срезы различных стебельков, окрашивать и наблюдать их через микроскоп и, увы, *рисовать* подробности, которые я там видел или не видел. Это было не так противно, как ПР по зоологии, но, пожалуй, еще более скучно.

Только ПР по химии были сносны: я получал удовольствие от работ по качественному анализу, где с помощью реактивов **требо**валось определить анионы и катионы в растворе или в порошке.

Все эти разочарования я переносил стойче; чтобы разве-сти меня с медициной (потому что мы **все-таки** "**развелись**"), понадобилось другое. Вскоре я **обнаружил**, что своими политическими взглядами, в частности отношением к иностранцам, мои товарищи-студенты, будущие медики, мало отличались от юристов, с которыми я давно решил не иметь дела. Их взгляды и чувства были не так ясно сформулированы и не так пламенны, но шли, пожалуй, еще глубже. Правда, приверженцы таких фашистских лиг, как "**Юные патриоты**" или "**Королевские молодчики**", вербовались, главным образом, среди юристов. Мои коллеги по ФХЕ были слишком заняты зубрежкой и слишком далеки от Буль Миша, чтобы (как юристы) шумно предлагать там проходим **раз**-ные крайне правые газеты и листовки, но их высказывания не оставляли сомнений насчет их чувств и мыслей.

Еще более мерзким казался мне их низменный материализм. Эти юноши, которые еще не соприкоснулись **по-настоящему** с медициной, а резали беспозвоночных, важно рассуждали о ценах на приобретение медицинской практики в Париже и в провинции.

Как попал Эроусмит в такую компанию и что собирался делать среди них? Но решило мою отставку в медицине открытие, что я совсем не выношу вида больных. Читатель согласится, что это качество не оставляло надежд на успешную медицинскую практику. Первый же осмотр в госпитале, на котором я увидел более сотни больных, лежавших рядом друг с другом в огромной палате, нанес окончательный удар; в тот же вечер я решил, что не буду врачом. После этого выпускной экзамен ФХЕ мне уже был не нужен, но я счел делом чести выдержать его, что было в июне 1933 года. Отметка по двадцатибалльной системе явилась компромиссом между 18 баллами по физике и 6 - по зоологии (за препарирование и рисование половых органов улитки, двуполого существа, живущего весьма сложной половой жизнью).

И **все-таки** этот год нельзя считать совсем пропащим: из **пре**-досторожности одновременно с ФХЕ я записался на курс "Общая математика" (ОМ), подготовительный к физике, и выдержал экзамен в октябре 1933 года. Таким образом я смог вернуться к физике, от которой в глубине души я, вероятно, никогда не отказывался. С концом ФХЕ начался для меня двенадцатилетний период, наполненный всякого рода событиями, который мне **хоте**-лось бы разделить на две части по шесть лет каждая: "одинокие годы" и "**мрачные годы**".

Профессора и экзамены

(Система)

*Портреты старых мастеров. - Развлечения и отвлечения. -
Зуб для Палестины. - Возвращение отца*

После возвращения к физике и математике разумнее всего было бы вернуться в лицей. Там, в топе, под бдительным надзором и в атмосфере жесткого соревнования меня бы взлелеяли для **конкур**-са в Политехникум. Я снова бы покатился по рельсам системы, с которых сошел на целый год, и, наверное, достиг бы цели, предназначенной для тех, которые считались "первоклассным **ма**-териалом". Теперь я не **сомневаюсь**, что, несмотря на мои слегка блеклые лавры в Мат Элем и на крюк через ФХЕ, я оказался бы "**первоклассным материалом**", т.е. **двуногим**, способным вбить себе в голову и сохранить там, что угодно. Я даже полагаю, что, если бы не забросил медицину, то и там показал бы себя "**первоклассным материалом**", хотя вряд ли бы стал хорошим врачом, что совсем другое дело. Если бы у меня был опытный друг, совету **которого** я доверял, я, может быть, побрел бы обратно в **Каноссу**, т.е. в топот Жансона. Не думаю, что приобрел бы больше знаний, чем те, которые сам нашел в книгах, но зато не был бы так одинок.

Предоставленный самому себе, я отбросил с негодованием мысль о подобной капитуляции. Чтобы я, *студент*, стал снова **учеником!** Вернуться в лицей и снова играть в мяч на переменах! Никогда! Я записался в Сорбонне на два курса: "Общая физика" и "**Теоре**-тическая механика". Последняя тогда носила устаревающее название "**Рациональная** механика" (как будто была еще и **иррациональная**), которое сокращалось в *мехара*. Эти два зачета вместе с зачетом по общей математике, который я выдержал в октябре 1933 **года**, и с ВФХЕ (сейчас объясню, что это такое) должны были составить

четыре зачета, т.е. минимум для *лиценциата* (licence), первого университетского диплома во Франции. Я забыл сказать, что, видя, что моя медицина идет ко дну, я записался и выдержал экзамен на ВФХЕ ("В" означает высший), который являлся несколько более сложным, чем ФХЕ. По сравнению со стандартным ФХЕ, который для лиценциата не засчитывался, ВФХЕ включал в себя кое-какие (правда, довольно жалкие) дополнения по физике, химии и математике и курс геологии. ВФХЕ, очевидно, предназначался для преподавателей естественных наук и поэтому считался зачетом для лиценциата.

Геология обогатила мой словарный запас некоторыми **звучными** названиями ископаемых. Больше всего мне нравились (ономастически говоря) *Нуммулиты* и *Трилобиты* (особенно *Трилобиты Конокорифы*).

Начнем описание нового учебного года (1933-1934) с мехара. Преподавали ее два профессора - *Шази* (Chazy) по динамике и *Гарнье* (Gamier) (с которым я снова встретился сорок лет спустя в нашей Академии) по кинематике. Шази написал книгу о динамике и на каждой лекции читал вслух отрывки из нее, что каждый мог сделать и сам, сидя дома. Лекции Гарнье ласкали взор. Я считал его крепким красивым стариком (О боги! Ему было тогда сорок семь лет, а умер он девяносто двух лет). У него был прекрасный почерк, и на каждой лекции он списывал три доски, начиная сверху слева на первой и кончая внизу справа на третьей. Несмотря на красоту зрелища, я скоро забросил и Гарнье.

На экзамене по мехара меня ожидал чудный сюрприз: я выдержал его с высшей оценкой **"очень хорошо"**. Ни один курс не стоил мне так мало труда и не исчез так скоро из моей памяти.

"Общая физика" была куда серьезней, и я работал над ней целый год. Моими учителями были *Дармуа* (Darmon) по электричеству, *Фабри* (Fabry) по термодинамике, *Кроз* (Croze) по оптике, и *Коттон* (Cotton) по курсу, который назывался **"Лучи"** и часто вторгался на территорию курса оптики. Это был самый популярный курс факультета наук, и в 1933 году на него записалось более трехсот пятидесяти студентов.

Я рано забросил курс Дармуа, - после того как он доказал нам, что электрическое поле ортогонально к поверхности проводника, *не предполагая, что поверхность проводника эквипотенциальна*, иными словами, доказав, что *любой* вектор ортогонален к *любой* поверхности. Он отмахнулся от моих робких возражений, и я решил оставить столь **"революционный"** курс. Позже Дармуа тоже стал академиком.

Курс Кроза, хотя и не столь сенсационный, был нестерпимо скучен, и с ним я тоже скоро расстался.

Фабри был преподавателем совсем другого класса. Он был остроумен и обаятелен, его лекции, единственные, на которые я ходил, были замечательно ясными. Я запомнил его комментарий ко второму принципу термодинамики: "Несмотря на то, что мы все слышали о сохранении энергии, все же мы испытываем смутное чувство, что завести часы или опустить их в кастрюлю с горячей водой не совсем одно и то же". На устном экзамене он сказал одному из юных политехников, которые привыкли смотреть свысока на обыкновенных студентов: "Как и все ваши товарищи, вы наполнены самим собой, но, к сожалению, ничем другим **больше**". Единственная слабость преподавания Фабри заключалась в том, что он не задерживался на трудных вопросах. Ученый мировой величины в оптике, он, конечно, был академиком.

Боюсь, что не оценил как следует лекций Коттона, который был крупным ученым. Его негромкий голос был совсем не слышен в задних рядах аудитории. Кроме того, большинство опытов, которые он продлевал во время лекций, требовали затемнения зала, что не облегчало ведения записей. Его курс оставил у меня смутные воспоминания. Он тоже член Академии.

Из шести профессоров, которых я только что здесь перечислил, пятеро были академиками, а двое - Фабри и Коттон - учеными с мировой известностью. Почему же, за исключением лекций Фабри, и то не без оговорок, я нашел в их лекциях так мало поводов для удовлетворения, не говоря уж об энтузиазме? Кто виноват? Они или я? Не хочу судить.

Практические работы (ПР) по общей физике были немного лучше по сравнению с ПР в ФХЕ своим идеологическим **содержанием**, если можно так выразиться, но вряд ли материальным оформлением. После неизбежного катетометра чувствовался **прогресс** в переходе от электростатики прадедов с ее электрометром и кошачьей шкуркой к электромагнетизму дедов с их гальванометрами. В ПР по оптике из дюжины зеркал Френеля только два позволяли счастливым, которым они попадались, наблюдать прекрасные интерференционные полосы, гордость французской физики. На всех остальных винтики для настройки были безнадежно стерты. На экзамене мне этот предательский опыт не попался, и я прошел с оценкой **"хорошо"**. После скучного антракта с ФХЕ за один год я вырвал две оценки - одну **"хорошо"** и другую **"очень хорошо"** на двух главных курсах факультета наук.

Зорро снова в седле! Скоро Зорро свихнет себе шею!

Перед описанием второго года моего "лиценциата" сделаю несколько замечаний личного характера. Когда в конце предыдущей

главы я писал про "одинокое годы", я имел в виду мои университетские занятия, в которых, как и все студенты, я действительно был довольно одинок. По окончании лекций или практических работ все расходилось по домам до следующей лекции, и так как на лекции я почти не ходил, то редко встречался с профессорами и студентами. Вне занятий у меня, как у **всех**, были товарищи, с которыми я встречался (после того как мы поселились за городом в предместье Круази (Croissy) в двадцати минутах езды поездом от вокзала **Сен-Лазар** (Saint-Lazare), чаще у них, чем у нас на **квартире**).

В начале этих воспоминаний я сказал, что мой отец должен был приехать через несколько недель после **нас**, в 1925 году. Десять лет спустя его все еще не было. Вначале дела его фабрики шли хорошо, судя по его письмам. **Мало-помалу** мы узнали, что были затруднения, что его вытеснили с фабрики (то, что он ухитрился удержаться там так долго, было тоже своего рода чудом) и что в выездной визе ему было отказано. Наконец, в один прекрасный (вернее прегадкий) день он написал, что дядя Боря серьезно болен и что он едет к нему. Это означало, что его выселили из Москвы в более северную местность.

Скоро мы получили его адрес и смогли с ним переписываться. Надежда приехать к нам его никогда не покидала. Я рассказывал раньше про физические и моральные качества отца, его храбрость и выносливость, умелые руки и неизлечимый оптимизм. За те десять лет, которые он провел вдали от нас, отец подписался на необыкновенное число собраний разных трудов, которые высылал нам заказной бандеролью. Он прислал нам Большую Советскую энциклопедию в 65 томах, Малую - в десяти томах, Медицинскую (тоже в десяти томах) для моей матери и Техническую (приблизительно того же объема) скорее всего для меня. Была еще великолепная, но, безусловно, не предназначенная для чтения Литературная энциклопедия, собрание сочинений Ленина в тридцати томах, великолепное академическое издание Толстого в 65 томах, с письмами, дневниками и вариантами, и классики - от Пушкина до Горького. В Советской России книги были тогда (и теперь, когда их можно достать) очень дешевы, и отец, очевидно, надеялся снова собрать библиотеку, подобную той, которая была у нас в Москве. Все это пропало во время немецкой оккупации, скорее всего было использовано в качестве топлива. Больше всего мне жаль издание Толстого, которое теперь является библиографической редкостью.

Осенью 1933 года я начал искать "тапиров". На студенческом жаргоне так испокон веков называются частные уроки, а также ученики, которые берут эти уроки. Я не знаю **происхо-**

ждения этого странного названия, освященного долгой традицией. Я слышал, что тапир - тупорылое животное и что с ним связано понятие тупости, которой иногда отличаются ученики, **нуждаю-**щиеся в частных уроках. Но "за что купил, за то и продаю". Этой деятельностью я занимался с перерывами более десяти лет до 1944 года. Болваны и лентяи XVI округа, благослови их, **Со-**здатель! Благослови также трехчлены второго порядка и законы Ома, и рассеивающие линзы, и виртуальные отражения, и земное притяжение! Сколько книг и обедов с товарищами, спектаклей в театре или **кино**. сколько поездок на каникулы, которыми я вам обязан!

Я обнаружил (не буду скромничать), что был прекрасным преподавателем и что мне нравилось преподавать. Заимствуя слова **Парселла**, открывшего ядерный магнитный резонанс, могу о себе сказать: "Все, что я могу понять, я могу объяснить". Моя добрая слава скоро распространилась среди мамаш XVI округа, и число тапиров увеличилось во всяком случае, еще и благодаря тому, что я брал двадцать франков в час у себя на дому и двадцать пять на квартире ученика вместо 75 франков, как брали в то время учителя Жансона.

Чтобы показать уровень милых мне тапиров, приведу пример перлов мудрости, которые мне приходилось выслушивать. Однажды я предложил одному из них исследовать трехчлен, зависящий от параметра m , которому давалось значение $3/2$. Подозревая, что моему тапиру было не ясно, принимает ли это значение параметр m или переменная x , я спросил его: "Вы поняли, кто принимает значение $3/2$ " (подразумевая m или x)? - "Да. Вы, господин **учитель**", - почтительно ответил он. Все это было прекрасно, но по три тапира в день, в разное время дня и в разных местах если и прибавляли денег, то съедали время, трепали нервы и наносили прямой урон моим собственным занятиям.

Но не только тапиры отвлекали меня от науки. Меня **беспо-**коило политическое положение страны. 6 февраля 1934 года в Париже состоялась внушительная фашистская демонстрация, **кото-**рая чуть не перешла в путч. Для меня и моих товарищей в этом было мало утешительного. Надвигались черные тучи - приход к власти Гитлера и гонения на евреев в Германии, гражданская война в Испании, нападение Муссолини на Абиссинию. Все эти события находили отклики в Латинском квартале среди крайне правых студентов.

В самом начале этих воспоминаний я сказал, что драк я остерегался. Не всегда! Однажды (в 1935 году) целая колонна ЮП (юных патриотов) спускалась по мостовой Буль Миша, горланя "Францию - французам! Евреев - в **Палестину**". Не знаю, какая

муха меня укусила, но в нескольких отборных выражениях я **со-**общил им свое мнение насчет их умственных, а также (стыжусь признаться) иных способностей. Полдюжины из них *бесстрашно* отделились от колонны и стали меня бить. Выручила полиция, которая отвела меня в комиссариат. После первой медицинской помощи моим ранениям (весьма легким, если не считать переднего зуба, который остался на тротуаре) меня отпустили домой. Подать жалобу на своих обидчиков я отказался **из-за** того, что сам первый начал всю эту историю.

При воспоминании об этом маленьком происшествии пятьдесят лет спустя мне приходит в голову, что милые молодые люди, которые так пылко орали **"евреев - в Палестину"**, были **чисто-**пробными сионистами в буквальном смысле слова. Сегодня их достойные потомки (правда, теперь не крайне правые, а крайне левые) орут с таким же усердием: **"Долой израильских захватчиков! Палестину - палестинцам!"** Беспроигрышная лотерея!

Вдобавок к своим *отвлечениям*, не нарушая сдержанности, присущей этим воспоминаниям, я скажу, что очень полюбил **израиль-**скую девушку (правильнее сказать, палестинскую, так как **из-**раильское государство еще не **существовало**), сестру товарища, приехавшую на год в Париж изучать историю. В конце своего пребывания в Париже она твердо решила ехать обратно домой, но, будучи далеко не равнодушной ко мне, охотно позволила бы мне поехать с ней, т.е. последовать совету **"милых"** молодых людей, которые задали столько работы моему зубному врачу. Я долго колебался, был очень несчастлив (она тоже). Она уехала, а я остался и утешился, что в двадцать лет не так уж удивительно. Она, наверное, тоже утешилась, потому что во время поездки в Израиль с моей женой в 1968 году я увидел ее счастливой матерью двоих детей. Но судьба поступила с ней жестоко: сын погиб на войне с Египтом в 1973 году, а вскоре она сама умерла от рака.

Таковы были разные *отвлечения*, которые меня беспокоили во время второго года (1934-1935) моего лицензиата, когда я принимался за курсы "Дифференциальное и интегральное исчисление" (сокращенно ДИИ) и "Математическая физика" (МФ). Разрешите мне сразу объявить счет: я провалился на обоих. Мои **раз-**ные отвлечения только частично объясняют и извиняют этот не **"блестящий"** результат.

ДИИ был крепким орешком, без сомнения самым трудным из всех курсов факультета, и насчитывал 75% провалившихся. Его властителями были два уважаемых математика: Гастон **Жюлиа** (Gaston Julia) и Арно Данжуа (Arnaud Denjoy). По причинам, которые я забыл (если даже предположить, что когда-либо их

знал), курс, принадлежавший Жюлиа, читал мой знакомый Гарнье. Это был довольно распространенный обычай. В расписании лекций часто можно было прочесть: "Курс X, профессор господин Y, читает курс господин Z". Я уже говорил о Гарнье: его лекции имели одно громадное преимущество - они были понятны.

Если бы господин Данжуа последовал примеру **господина** Жюлиа! Увы, добросовестный Данжуа считал своим долгом сам преподавать курс, за который отвечал. Его метод можно было бы вкратце изложить так: лекции непонятны и неслышимы (маленькая компенсация), задание на экзамене невыполнимо. Чтобы выдержать ДИИ, считалось необходимым решить полностью задание Гарнье и "оторвать хоть кусочек" от проклятого Данжуа. **Разумеется**, после первой лекции Данжуа я перестал туда ходить. Гарнье же только что написал книгу, соответствующую своему курсу, так что его лекции тоже не было необходимости посещать. Как мне сказал один товарищ: "Ты свободно мог бы поступить на военную службу в Иностранный легион, если бы тебе пообещали отпуск в день экзамена". С этой целью (не для Иностранного легиона, а чтобы не ходить на лекции Данжуа) я купил себе дорогой подарок, **монументальный** трехтомник **Гурса** (Goursat), выпущенный издательством **Готье-Виллар** (Gauthier-Villars),

Пару слов об издателе и об авторе. Когда несколько позже я познакомился с дельта-функцией Дирака, мне пришло в голову, что она дает хорошее описание издательской политики Готье-Виллар: продавать бесконечно мало книг по бесконечно большой цене. Кроме того, все их учебники были в бумажной обложке и скоро распадались на куски. Наконец, следуя предрассудку, близкому к требованию невинности невест (я беру обратно слово *предрассудок*, чтобы не оскорбить вполне достойных убеждений), их книги продавались неразрезанными, и читатели, которые пытались их перелистывать в книжной лавке, должны были довольствоваться неполным удовлетворением, не раз описанным в давно забытых французских романах.

Господин Гурса, прежний заведующий кафедрой ДИИ, был математиком с мировым именем во **Франции**⁵ (если я могу **упо-**требить это сомнительное сочетание), а его трехтомник - самым внушительным математическим произведением, которое мне попало в руки с тех времен и до настоящего времени. Разрезав его и тем самым моментально снизив его цену не менее чем на 30%, я попробовал его читать, если только *читать* подходящее слово. Я не математик, и мое мнение (к тому же мнение провалившегося на экзамене) сомнительно, но я убежден и по сей день, что *не так* следует учить математике. Во всяком случае, кто бы

⁵Курс Гурса был переведен и на русский язык. - *Примеч. ред.*

ни был виноват (я или господа Данжуа и **Гурса**), я провалился. Я никогда еще не падал так низко, и позже со мной ничего подобного больше не случалось. Хотя я и ожидал неудачу, удар был так силен, что я решил не пробовать снова в октябре, а отложил следующую попытку на будущий год.

Очевидно, мне не хватало той умственной гимнастики (если считать "умственной" подходящим словом), которой "топены" занимаются в течение двух лет. Благодаря ей всякая задача на экзамене (я не говорю всякая *новая* задача, потому что дело тут не в новизне, а как раз наоборот) имеет привычный вид. Вполне возможно, что эти злобные строки все еще питает (полвека спустя) унижение от неудачи.

С "Математической физикой" (МФ) дело обстояло совсем по-другому. Курс состоял из центрального ядра - "Теории вероятности"- и разных дополнений по выбору. Одним из них являлась МФ, которую я и выбрал. Я попал туда по недоразумению. В расписании лекций я увидел имя лектора - Фрэнсис Перрен (Francis Perrin). Но прочел по ошибке: Жан Перрен (Jean Perrin) - имя знаменитейшего французского физика, Нобелевского лауреата 1926 года. Фрэнсис Перрен был его сыном, тридцатипятилетним теоретиком (к которому в дальнейшем я еще не раз вернусь). Я догадался о своей ошибке, когда вместо всем **знакомого** величавого облика в почтенных сединах увидел низкорослого молодого человека с коротенькими усиками. (Несколько лет спустя он разбил себе челюсть, напоровшись, ныряя, на подводный сук, и отпустил бородку, которую носит и по сей день.)

Аудитория была невелика, и мой уход был бы замечен всеми. Я остался и не пожалел об этом. Первой частью курса, посвященной классической статистической механике, я был восхищен. С тех пор как я начал слоняться по университету, мне показалось, что я в первый раз прикоснулся к современной физике. Вторую часть, квантовую статистику, не зная квантовой механики, я вынужден был пропустить и на экзамен не пошел, но обещал себе вернуться к нему на следующий год.

Таково было малоутешительное завершение моего второго года.

В течение третьего года (1935-1936) произошло мало замечательного, кроме того, что на этот раз я **"свернул шею"** проклятому ДИИ и успешно выдержал ФМ. Для ФМ я приобрел прекрасную книгу Евгения Блоха (Eugene Bloch) "Старая и новая теория квантов" у другого издателя - Германа (Hermann), - который тоже драл немилосердно, но, по крайней мере, продавал свои книги разрезанными и в твердом переплете (пятьдесят лет спустя он издал и мою книгу **"Réflexions d'un physicien"**). Из книги Блоха

я узнал в первый раз, что такое кванты, и смог разобраться в лекциях Перрена по ФМ.

Лето 1936 года принесло нам наконец большую радость - приехал мой отец. Его первыми словами, когда он увидел меня на платформе Северного вокзала, на которой мы высадились за одиннадцать лет до **него**, были: "Да, ты совсем не **маленький!**". Действительно, к тому времени я стал ростом с отца. А он **по-**мнил меня совсем маленьким, даже для своего возраста, таким, каким я уезжал из Москвы летом 1925 года. Наши отношения складывались порой нелегко. Это, наверное, было неизбежным. Ведь, покинув десятилетнего мальчика, он встретил **его** взрослым молодым человеком, к тому же выросшим в стране с другой **культу-**рой. Он плохо переносил вечера, когда я возвращался домой очень поздно, и еще хуже те нечастые дни, когда я возвращался очень рано утром, что я, в свою очередь, тоже плохо переносил.

Хуже всего было то, что я вступал в трудный период своей жизни - во вторую половину моих "одиноких лет". Как я написал в то время, "я искал отчаянно и тщетно направление, руководителя и товарищей для научной работы". Для моего бедного отца (который очень почитал внешние признаки успеха, что вполне естественно для человека, который всю свою жизнь трудился не покладая рук для себя и для семьи, мои искания сильно смахивали на бездельничание. Бедный папа! Он попал в неудачное время. Если бы он приехал во время моей золотой пятилетки в Жансоне или дожил бы чудом до моего академического вицмундира!

Хождение по мукам

Кто виноват? - Картина Ватто. - Путь самоучки. - Вокруг да около. - Знакомство с классиками. - Семинар...(ия?). - Открытие огня. - Роскошный тапир. - Смерть убийцы. - Морская зоология

Передо мною на столе пожелтевшая бумажка, датированная 1945 годом и подписанная заместителем секретаря Парижского факультета наук. Она удостоверяет, что **Анатоль Абрагам** числился на факультете в годы **1936-1937, 1937-1938, 1938-1939** с целью подготовки **докторской**⁶ диссертации под руководством профессора

⁶То, что в СССР называется докторской **степенью**, во Франции не существует. До войны французская докторская степень более или менее соответствовала советской кандидатской (**пожалуй**, слегка выше). - *Примеч. ред.*

Фрэнсиса Перрена. Где эта диссертация? Нет диссертации, нет темы для диссертации, нет ни одного вычисления и, конечно, ни одного экспериментального результата, *ничего нет!* Кто виноват? Я первый, безусловно. Если бы я был более талантлив, если бы горел той страстью к науке, которую так хорошо описывают в книжках для назидания усердной молодежи, если бы я был менее требователен к тому, что мечтал совершить, я мог бы по окончании этих трех лет представить хоть **какие-нибудь** осязаемые признаки того, что скромная регистрационная плата, которую я вносил на факультете эти три года, не была выброшена зря. Но не я один был виноват в этой нелепице, был еще один - главный - безличный виновник, наша Система.

Но за безличной системой стояли люди, и о них я должен сказать. Первый из них - главный ответчик - тот, под чьим *руководством* я *готовил* свою диссертацию, это профессор Фрэнсис Перрен, и я не могу умолчать о нем. Я долго колебался перед тем, как написать то, что следует, и, может быть, порву то, что написал, если мне не удастся сказать, что хочу и так, как я **хочу**. Перрену сегодня (в 1988) 87 лет. Я рассказал в предыдущей главе, как мы встретились. После семилетнего перерыва (с 1939 по 1946) мы виделись все чаще и чаще во время моей службы в Комиссариате по атомной **энергии** (сокращенно **КАЭ**), где он занимал должность Верховного комиссара (**ВК**), т.е. руководителя по науке, с 1951 по 1970 годы. В 1960 году я получил кафедру в Коллеж де Франс, где он был профессором с 1946 года, и, наконец, в 1973 году я был избран в Академию наук, членом которой он был с 1953 года, так что случаев видеться у нас было и остается немало.

Среди чувств, которые я испытываю по отношению к Фрэнсису Перрену, с которым я встретился более полувека тому назад и продолжаю встречаться по сей день, глубже всего привязанность, основанная на его необыкновенном обаянии и беззлобном **остроумии**. На втором месте - восхищение его умственными **способностями**, скоростью, с которой он схватывает **все** новое, объемом и разнообразием его знаний и его **культуры**, его способностью всем интересоваться и все понимать. Лестно, но правдиво.

За сим следует благодарность за поддержку, которую он мне оказал на разных этапах моей карьеры. По его рекомендации я был принят в НЦНИ (Национальный Центр Научных **Исследований**) в сентябре 1946 года, а затем в КАЭ в конце того же года. Он поддержал мою кандидатуру на стипендию для **длительной** поездки в Англию. Несколько раз в течение моей карьеры он выставлял мое имя для научных наград. Он был докладчиком во время обсуждения моей кандидатуры в Коллеж де Франс и

позже в Академию наук. Если мое чувство благодарности за все эти услуги слабее чувств привязанности и восхищения, которые я описал выше, то это из-за моей уверенности (Бог с ней, с показной **скромностью**), что каждый раз я стоял намного выше остальных кандидатов.

И **наконец**, выскажу горечь за легкомыслие (чтобы **не** сказать халатность), с которым он отнесся к своим обязанностям **руководителя** моих первых шагов в науке с 1936 по 1939 годы, горечь, которая и по сей день не совсем прошла.

Что он сделал для меня за эти годы? Каждый год в течение трех лет он подписывал документы, заверяющие, что я работал над диссертацией под его руководством. Он выдал мне разрешение работать в библиотеке Института Анри Пуанкаре (Henri Poincaré), по моей просьбе представил меня Нобелевскому лауреату Луи де Бройлю (Louis de Broglie), чей семинар я хотел посещать, а также привел меня один раз на знаменитый **"чай"** (где его знаменитый отец Жан Перрен собирал сливки научной общественности) и представил меня своему шуруину Пьеру Оже (Pierre Auger), который открыл так называемый **"эффект Оже"** и о котором я еще скажу ниже.

В 1938 году он одолжил мне свой персональный экземпляр обширного обзора по ядерной физике, написанный Хансом Бете (Hans Bethe) (библиотечный экземпляр сразу украли), который война помешала мне ему вернуть. Что еще? Он посоветовал мне читать **"Physical Review"**, чтобы найти тему для моей научной работы. Конечно, осенью 1936 года этот журнал еще не достиг теперешних чудовищных размеров, но, как я сказал раньше, мне не хватило таланта, чтобы извлечь пользу из этого легкомысленного совета.

Он был неуловим. Я никогда не знал, ни где он **находит**ся, ни что он делает, и, так как я не решался звонить ему на дом, наши встречи были редкими и краткими. Рассказывают, что французский политический деятель Жорж Клемансо (Georges Clémenceau) однажды так отозвался о своих коллегах Пуанкаре (Poincare) и Бриане (Briand): **"Пуанкаре все знает, но ничего не понимает, а Бриан ничего не знает, но все понимает"**. Мне хотелось сказать про Перрена: **"Он все знает и все понимает. Но что он делает?!"**. Я думаю, что не был бы так зол на него, если бы он не был так обаятелен и мил. Мне вспоминается знаменитая картина французского художника XVIII века Ватто (Watteau). Картина представляет живого очаровательного юнца, резвящегося с игрушкой **"диаволо"**. Название картины **"Безучастный"**. Вот этого юнца мне и напоминает мой старый друг Фрэнсис. Я еще не раз вернусь к нему.

Право не знаю, как мне назвать вторую половину моих шести *одиноких лет*, эти три года (1936-1939) моих **"научных"** занятий. После первой несчастной встречи с геометрией в тринадцать лет я больше никогда не плакал над своими интеллектуальными **неудачами**, и название *плачевные годы* не подходит. Может быть, *туманные годы*, потому что мои воспоминания об этих годах **гораздо** более расплывчаты, чем о предыдущих трех. Потому ли, что им не хватает **"корсета"** экзаменов, которые служили вехами в предыдущие годы, или потому, что, следуя доброму доктору Фрейду, моя память подсознательно уничтожает ненавистные воспоминания? Не знаю. Да и не все ли равно? Я теряюсь в их хронологии и удовольствуюсь тем, что расскажу кратко о книгах, которые изучал, и о личностях, с которыми встречался. Боюсь, что для **всех**, кроме физиков, это будет нестерпимо **скучно**, но эти проклятые годы требуют исповеди.

Теория квантов и теория относительности были тем **заколдованным миром**, в **который** я мечтал заглянуть. Я не решался сразу взяться за труды де Бройля и еще менее за английские и немецкие **книги**, которые украшали полки библиотеки Института Анри Пуанкаре. Де Бройль внушал мне священный ужас, **по-английски** я читал с большим трудом, а **по-немецки** еще хуже, хотя официально я изучал его в лицее пять лет. (Я давно определил, что главная трудность немецкой фразы состоит в том, чтобы установить, утверждает она **что-то** или отрицает - проблема четности числа знаков отрицания. Найти глагол легче, так как он всегда прячется в конце фразы. Воображаю, как нелепо звучат **по-немецки** слова Писания: "Вначале был **Глагол**".)

Для вступления в теорию относительности я выбрал книгу, которая оказалась совершенно дурацкой: "Общая относительность и абсолютное дифференциальное исчисление". Автор этой книги, некий господин Гальбрен, представлялся читателю как **"математик и актуарий"**. Я это рассказываю, чтобы показать, до какой степени я был одинок, "грызя гранит **науки**".

Моей следующей попыткой постичь теорию относительности был двухтомный трактат фон Лауэ в переводе на французский. Фон Лауэ - безусловно, крупнейший физик, но, может быть, по вине **переводчика**, я его понимал с большим трудом. Чтение фон Лауэ указало мне на мои пробелы в теории электромагнетизма, и я приобрел книгу Леона Блоха (брата Евгения Блоха, о котором уже говорил). Она была напичкана уравнениями, а значит была высоконучной. (Я был в те времена порядочным снобом в этом отношении. Только позже, гораздо позже, я открыл как много физики можно объяснить, употребляя совсем мало уравнений.) Однако Леон не обладал педагогическими способностями своего

брата Евгения, и я его скоро забросил. (Оба брата погибли от руки нацистов во время войны.)

Затем я обратился к книгам Буаса (Bouasse). Хочу сказать здесь несколько слов об этом злом гении французской физики, который свирепствовал много лет. Буас занимал кафедру физики в университете Тулузы. Слава Богу, его скверный характер помешал ему занять кафедру в Париже, где он принес бы еще больше вреда. Он написал большое число толстых томов, **главным образом**, по акустике, электричеству и магнетизму, о которых говорил: **"Надо** полагать, мои книги хороши, раз столько людей их покупают", что казалось логичным. Я пользовался некоторыми из них. Для инженеров и преподавателей физики они были неплохи, если бы не были испорчены невероятным невежеством в области современной физики и бешеной ненавистью к ее создателям. Он не признавал существование не только квантов, но и электронов. Что касается теории относительности, то даже имя Эйнштейна он произносил с пеной у рта и называл его иронически "второй Ньютон" (ирония была неуместной). Его узкий консерватизм, безграничный шовинизм и ненависть к парижским коллегам находили выход в зажигательных предисловиях, **которыми** он украшал свои творения. Буас оказал вредное влияние на целые поколения инженеров и учителей и даже на некоторых профессоров университетов. Он несет тяжелую ответственность за отсталость многих разделов французской физики.

Давно я заглядывался на полках библиотеки на двухтомный труд, роскошно изданный, увы, **по-немецки**, - "Электродинамику" Я. И. Френкеля. Мне пришло в голову, что должно существовать издание на русском языке, и я **решил** его приобрести. Отец, будучи теперь с нами, не мог мне его прислать из России. Но мне помог муж его сестры Раисы, который работал переводчиком на разные языки. Он достал мне каталог советских научных книг и выписал **те**, в которых я нуждался. Я уже сказал, что они были очень дешевы. Стоимость "Электродинамики" Френкеля **составляла** лишь 20% немецкого издания. Таким образом я приобрел много русских книг или, вернее, книг на русском языке, потому что многие из них были переводами с иностранных языков.

"Электродинамика" Френкеля оказалась многословной и местами трудно понимаемой, но блестящей и вдохновляющей. (Бедному Леону Блоху было далеко до Френкеля.) Я провел над ней несколько месяцев. По теории относительности я приобрел книгу Эддингтона **"Пространство, время, тяготение"** - прелестную **популяризацию**, какие только англосаксы и умеют делать. И, что еще важнее, его же "Математическую теорию относительности" для более серьезного изучения. Одновременно в Коллеж де Франс я

посещал лекции по тензорному исчислению, которые читал Леон Бриллюэн (Léon Brillouin).

Оставались *кванты*. И я все кружил вокруг да около, не решаясь шагнуть в их мир, - так велика была репутация трудности и отвлеченности этой науки. К тому же, я рассуждал так: **"Раз** квантовая механика поставила под сомнение все предыдущие понятия **физики**, их необходимо осмыслить, чтобы знать, что именно она перевернула вверх **ногами"**. Такая скрупулезность **была**, конечно, достойна уважения, но я на ней далеко не уехал. В прошлой главе я рассказал, как изучение книги Евгения Блоха **"Старая** и новая теория квантов" помогло мне сдать экзамен по математической физике, но для этого требовалась только старая теория, поэтому я все еще стоял, как **заколдованный**, лишь на пороге новой. Та же добросовестность толкала меня на более тщательное изучение старой квантовой теории перед тем, как **по**-грузиться в новую. Абсурдная добросовестность! Если старая теория в форме, данной ей Бором и Зоммерфельдом, **действитель**-но очень проста, то она делается очень сложной и очень шаткой при попытке ее углубить. Вот когда я нуждался в совете опытного руководителя! Но такого не было рядом. Находясь в этом состоянии духа, я приобрел русский перевод книги Макса Борна 1923 года "Теоретическая атомная физика", в которой с **помо**-щью очень сложных вычислений Борн пытался выжать из *старой теории* все, что она содержала, и даже больше.

Наконец я понял, что пришла пора нырнуть в новую теорию квантов. Но и теперь, боясь "холодной **воды"**, я начал со странной книги, написанной неким **Брику́ (Bricout)**, доцентом Политехникума, со странным названием **"Микроэнергетика"**. Книга сулила безболезненное посвящение в тайны новой квантовой теории. Однако **Брику́** не успел причинить мне большого вреда. Выходя из библиотеки с **Брику́** под мышкой, я столкнулся с моим Перреном, который, как всегда, куда-то спешил. Я ухватился за редкую возможность сообщить ему, что начал изучать **Брику́**. **"Кого?"** - спросил он. **"Брику́"**, - повторил я. **"Зачем?"** - спросил он и исчез. Это положило конец **Брику́** и во имя справедливости я должен был бы записать этот краткий разговор, как еще один **совет** моего руководителя.

Наконец, я набрался ума и взялся за книги де Бройля. И был приятно поражен, найдя первую же из них - "Волновую механику" - вполне удобоваримой, хотя порой и излишне сложной. Вторая, и самая лучшая из них, - "Квантование в новой механике" - очень хороша! Зато третья - "Магнитный электрон", где изложена теория Дирака, - плоха.

***Для** того, кто знает, в чем дело, скажу, что де Бройль доказывает тензорный характер операторов, которые можно построить с помощью матриц Дирака, страшно неуклюже, выписывая матрицы Дирака в явной **форме**.*

После этого я легко закончил вторую часть книги Евгения Блоха.

Еще три книги дополнили мою *квантовую культуру*. Первой был объемистый двухтомник того же Я. И. Френкеля **"Волновая механика"**. Френкель был блестящим теоретиком, который предложил массу новых идей, многие из которых оказались **пло**-дотворными, как, например, дефект в кристаллах, который носит имя *дефекта Френкеля*. Это в его книге я увидел в первый раз выражение **"газ фононов"**, который, привыкнув ко множеству опечаток в советских изданиях, я сначала прочел как **"газ фотонов"**.

Вторая книга была написана советским физиком Фоком для научных работников. Я сделаю здесь небольшое примечание о Фокке, который был одним из основателей советской теоретической физики и блестящим учителем, как я скоро убедился.

***Фоку** принадлежит важное улучшение приближенного метода вычисления электронных волновых функций, предложенного английским физиком Хартри (Hartree). В этом приближении каждый электрон движется в среднем поле, производимом **осталь**-ными электронами. Вычисление должно быть *самосогласованным*, т.е. **таким**, чтобы вычисленное с помощью полученных волновых функций значение среднего поля снова совпало с тем, с которого начали. Недостатком метода Хартри было отсутствие учета неразличимости электронов Фок ввел эту неразличимость и показал, что *его*, волновые функции были наилучшими в том смысле, что давали наилучшее, т.е. самое низкое, значение **энергии**.*

(Читатель вправе удивиться этому неожиданному взрыву эрудиции, но она мне понадобится позже в рассказе о защите моей диссертации в Оксфорде в 1950 году.)

Возвращусь к книге Фока. Она была чудом ясности и **кратко**-сти. На двухстах страницах она давала читателю все необходимое для *использования* квантовой механики, а не для обожания, как было принято у нас. Не могу лучше описать впечатление, **кото**-рое книга Фока произвела на меня, не сказав, что я сразу решил ехать в СССР, чтобы работать под руководством Фока. Теперь я точно не помню, когда этот безумный проект зародился в моей бесталанной головушке, в 1937 или 1938 году. Я обсуждал его с товарищами, и все завидовали моему знанию русского языка, которое открывало передо мной такие заманчивые возможности. Отец, который сохранил свой советский паспорт и редко высказывался отрицательно о СССР, на этот раз сказал мне очень

решительно, что, если я непременно хочу покончить с собой, есть много менее неприятных способов самоубийства. Он, очевидно, знал то, что мне было неизвестно. Хотя я мало в чем соглашался с ним, но на этот раз я его послушался. Оглядываясь теперь на прошлое и имея в виду все то, что произошло во Франции два года спустя, не так уж легко решить, где было больше шансов остаться в живых, но, пожалуй, я выбрал не худшее.

Третьей книгой была монография Дирака **"Принципы квантовой механики"**. Могу кратко выразить то, что я думаю об этой книге, следующими словами: "Это величайшая книга, когда-либо написанная о **физике**." Это очень математическая книга, но математика в ней незаметна. Дирак создает **впечатление**, что он почти не знает математики и постепенно изобретает сам понятия, в которых нуждается. Можно для примера назвать его дельта-функцию, из которой пятнадцать лет спустя мой друг Лоран Шварц (Laurent Schwartz) сделал "порядочную **женщину**", узаконив ее своей теорией "распределений" (distributions). Помню, как на одной из своих лекций в Институте Анри Пуанкаре, после войны, Дирак беспокоился о сходимости одного бесконечного ряда. **"Стареет"**, - шепнул я своему соседу.

* После Вейля (Weyl) и Вигнера (Wigner) стало известно, что теория групп является краеугольным камнем квантовой механики; Дирак в своей книге с невозмутимым бесстыдством использует группу перестановок, создавая впечатление, что никогда не слышал о ней раньше. С каким величием он раз и навсегда кладет конец диспуту между квантовой и волновой механикой, вводя с самого начала свою абстрактную формулировку, благодаря которой сам диспут становится излишним. Наконец, всего на тридцати страницах он дает изложение релятивистской теории электрона, которое безжалостно сводит к нулю усердие де Бройля в его **книге**.*

В 1961 году вышла в свет моя первая монография, которую, подражая Дираку, я нахально назвал "Принципы ядерного магнетизма". (Откровенно говоря, да простит меня читатель, я считаю, что на эту тему за последние тридцать лет никто лучше не написал.) Двадцать лет спустя издатель моей и Дирака книг, Оксфорд Пресс (Oxford Press), выпустил дешевое издание обеих книг с такой рекламой: "Два великих классика от Оксфорд Пресс в первый раз в дешевом **издании**". У меня от гордости "в зобу дыханье **сперло**", но, когда я показал **эту** рекламу своему американскому коллеге Слихтеру (Slichter) (о котором еще будет идти речь впереди), он меня "зарезал": "Воображаю, как Дирак сходит с ума от **счастья**".

Занимался понемногу я и математикой. Заказал русский **перевод "Современного анализа"** Уитекера и Уатсона (Whittaker and Watson) и собрался тщательно его изучить, **и**, в частности, решить все задачи, которые он содержал. Мне посоветовал это безумное предприятие товарищ, только что вернувшийся из Палестины, где англичане продержали его три года в тюрьме за деятельность, которую они не одобряли, и где он успел за это время **совершить** тот самый подвиг, который он рекомендовал мне. Скоро я убедился, что он пользовался исключительно благоприятной обстановкой для такого подвига, и отказался от своей попытки. Если читатель знаком с этой книгой, он меня поймет. Но я приобрел в переводе "Методы математической физики" Куранта и Гильберта, которые сочетали ясность со строгостью. Это не имело ничего общего с кромсанием эпсилонів на маленькие кусочки господином **Гурса**.

За три *туманные года* у меня, наверное, было еще и другое чтение такого же рода, но большая часть, я думаю, всплыла здесь на поверхность моей памяти. Я ничего не сказал про разные полунучные, полуфилософские популяризации Анри Пуанкаре, Эмиля **Борея**, Луи де Бройля, Жана Перрена, **Эддингтона**, **Джинса** и других, в которых я находил передышку в более суровом труде.

Понятно, все это *чтение* велось с пером и бумагой. Я **проделывал** сам все вычисления и исписывал чудовищное количество бумаги. Очевидно, по крайней мере очевидно для меня, что **невозможно** предаваться такого рода деятельности исключительно для удовольствия набивать свою башку знаниями восемь часов в день шесть дней в неделю. У меня бывали более или менее длинные промежутки усталости и даже полного упадка духом, когда, кроме занятий с моими *тапирами*, я ничего не делал, ходил в кино, в бассейн или просто валялся на кровати, читая детективы. Неудивительно, что мой бедный отец решил, что я неудачник и лентяй; мне и самому иногда так казалось.

Перед тем, как замкнуться в "горделивом **одиночестве**", я **сделал несколько** попыток включиться в научную жизнь страны. Я уже говорил, что Фрэнсис Перрен познакомил меня с Луи де Бройлем (Louis de Broglie). Здесь мне хотелось бы отвлечься на время от самого себя и рассказать об этой крупнейшей фигуре французской физики XX века.

Луи **Виктор** Пьер Реймон дюк де **Бройль** (1892-1987) сделал одно из величайших открытий нашего века, имя которому **волновая** природа материи. Его формула $\lambda = (h/p)$ стоит в одном ряду с величайшими формулами Планка $E = h\nu$ и Эйнштейна $E = mc^2$. Де Бройль - отпрыск знаменитой семьи воинов и государственных деятелей. Его предки итальянского происхождения принадлежали к семье Броглиа (Broglia), младшей ветви семейства Грибальди

(не Гарибальди!) из Пьемонта, с родословной, начинавшейся в XII веке. Во Франции они появились в XVII веке. Луи де **Бройль** прямой потомок Франсуа-Мари (Francois-Marie) Броглиа (1611-1656). Это первый из Броглиа, который был на службе у короля Франции и переименовал свою фамилию на Бройль. Он был блестящим и доблестным воином и посмертно был произведен в маршалы. Трое следующих его потомков тоже заслужили звания маршалов. Второй из них - *Франсуа-Мари* (как и дед его) - был пожалован французским королем наследственным званием дюка (т.е. герцога). Титул этот после смерти унаследовал его старший сын. Сын Франсуа-Мари - **Виктор-Франсуа** - был награжден германским императором титулом принца Святой **Романо-Германской** империи, который (в отличие от титула дюка) стали носить все его прямые потомки мужского и женского пола. (Почему я вдаюсь в эти геральдические подробности? Да вот почему: когда в 1929 году после присуждения Нобелевской премии имя Луи де **Бройля** стало известно широкой публике, не так хорошо осведомленной в геральдике, как мой читатель и я, многие удивлялись, почему Луи называли *принцем*, в то время как его старшего брата Мориса (Maurice), тоже крупного ученого, **"только" дюком**. Объяснялось это просто: **"принц де Бройль"** - иностранный титул, в то время как **"дюк"** - французский титул, принадлежащий первородному мужского пола, и стоит выше. Луи стал дюком после кончины Мориса, который не оставил сына.)

После Виктора-Франсуа семья переходит к гражданской государственной службе. Его сын Шарль был либералом, принял революцию 1789 года и не захотел эмигрировать, в результате чего жизнь свою кончил на гильотине, что, боюсь, положило **конец** либеральным замашкам династии де Бройлей. Сын Шарля, Леон-Виктор, и внук Альберт - оба стали **премьер-министрами** после реставрации монархии во Франции. Сын Альберта занимался только своим именем, а его дети - Морис и наш герой Луи - стали выдающимися учеными.

Старший - Морис (1875-1960) - был экспериментатором. Он начал свою карьеру как морской офицер, но после смерти отца подал в отставку и оборудовал частную лабораторию в своем парижском особняке, несмотря на то, что все вокруг считали, что проводить досуг, играя с какими-то странными машинами, даже в собственном особняке и с помощью собственного механика, вместо того, чтобы быть генералом, адмиралом, государственным деятелем или, по крайней мере, крупным землевладельцем, вряд ли подобает отпрыску де Бройлей. Он занимался с большим успехом опытами в области рентгеновских лучей, фотоэлектрического эффекта и позже электронной дифракции. В 1911 году принял участие в

первом из знаменитых Сольевеевских (Solvay) конгрессов в качестве одного из секретарей. С собой он взял и девятнадцатилетнего брата Луи, который впервые увидел там величайших теоретиков того времени - Лоренца, Анри Пуанкаре, Эйнштейна, - которые произвели на него громадное впечатление.

Как и подобало отпрыску вельможного семейства, Луи сначала воспитывался дома. Его домашним учителем был католический аббат брат Шане (**Chanet**), который **"слегка за шалости бранил и в летний сад гулять водил"**. **"Когда же юности мятежной пришла наследнику пора"**, мосье аббата не **"прогнали со двора"**, а поручили ему водить четырнадцатилетнего Луи в лицей Жансон, куда он поступил в 1906 году (всего за двадцать лет до меня). В восемнадцать лет он уже учился на историческом факультете, но после интеллектуального потрясения, связанного с участием в **Сольевеевском** конгрессе, перешел на факультет наук и вскоре сдал экзамены на степень лиценциата. Шел 1913 год, когда в научной жизни де Бройля начался шестилетний перерыв. Его призывают в армию, где он прослужил до 1919 года в войсках радиосвязи, *под*, а не *на* Эйфелевой башне. Его продержали в армии еще целый год после окончания войны. Очевидно, в те времена наша армия не давала поблажек ни потомкам вельмож, ни начинающим ученым.

Начало его научной карьеры протекало в условиях не более благоприятных, чем моей. Но у него был брат, и сам он был гением. После демобилизации он провел много времени в лаборатории брата, работая над теорией рентгеновских лучей и **фотоэлектрического** эффекта. В 1923 году он сделал свое бессмертное открытие, опубликованное в трех кратких заметках в 1923 году и в его докторской диссертации в 1924. Никто во Франции не оценил в то время необыкновенной глубины и дерзости его идей. По всей вероятности, члены жюри, состоявшего из четырех знаменитых ученых - физиков Жана Перрена и Поля Ланжевена, математика Эли Картана (**Elie Cartan**) и кристаллографа Могена (**Mauguin**), - не присудили бы ему докторской степени, если бы Ланжевен не догадался послать **экземляр** диссертации Эйнштейну. Эйнштейн мгновенно оценил значение идей де Бройля и **написал** Ланжевену: **"Он поднял угол великого занавеса"** (Er hat einen Zipfel des grossen **Schleiers gelüftet**). Открытие де Бройля можно сформулировать в нескольких словах: **"Известно, что фотон не только волна, но и частица. Почему же электрону, который частица, да и вообще любой частице, не быть также волной?"** Этим все сказано, не хватает только нескольких уравнений. И за это в 1929 году (в 37 лет!) ему присуждается ни с кем не разделенная Нобелевская премия.

За сим последовали все почести, которые Франция могла воздать своему великому сыну: для него была создана в 1933 году Кафедра физических теорий, в том же году он был избран в **Академию** наук и сделался постоянным ее секретарем с 1942 года. Об его бесчисленных орденах не стоит и писать. В 1953 году Луи де Бройль был избран иностранным, т.е. **почетным**, членом (Foreign Fellow) Британского Королевского общества. После его смерти в 1987 году, следуя обычаю, другому иностранному члену Королевского общества, в данном случае мне, поручили написать подробный некролог. (Теперь читателю станет ясно, откуда у меня такая эрудиция насчет родословной де **Бройля**.)

У де Бройля был свой семинар (хотелось бы позволить себе в шутку написать своя **"семинария"** из-за истовости, которая там царствовала). Юные и не столь юные теоретики излагали там свои соображения. Прерывать и задавать вопросы до конца **из-**ложения было не принято. После выступлений были краткие и безжизненные прения.

Я вынужден со скорбью признать, что ученики, которые собирались вокруг де Бройля, не отличались высоким интеллектуальным **уровнем**, а некоторые из них даже и порядочностью. Одним из признаков того была атмосфера восхищения, чтобы не сказать низкопоклонства, которой они окружали его. Например, не принято было говорить о "квантовой **механике**", а только о "волновой **механике**", ибо именно последняя была связана с **дебройлевскими** волнами. Было также общепринято, что волновая механика - это очень отвлеченная и трудная область науки, предназначенная для избранных, а не (как это было в то время в других странах) просто рабочий инструмент в руках физика. Возможно, что сам де Бройль и не поощрял такого поведения, но (может быть, по мягкости характера) он никогда не реагировал достаточно твердо, чтобы положить этому конец раз и навсегда. Кроме того, по мере того как с годами направление его исследований все более и более удалялось от тех, которые велись за границей (куда он никогда не ездил), он находил поддержку в обществе своих юных (и не столь юных) сотрудников, которые во всем соглашались с ним и набожно развивали его концепции в статьях и семинарах. (Мне лично это напоминало Гулливера, связанного **лиллипутами**.)

Конечно, ничего этого я не знал, когда Перрен ввел меня в это святилище и представил де Бройлю. Де Бройль принял меня очень учтиво, протянул руку и пригласил принять участие в семинаре. Я был страшно взволнован. При мысли, что меня приветствовал принц, который, кроме того, для меня был принцем физики, я испытал нечто подобное благоговению. Он был одет в **темно-синий** костюм, который даже в те времена казался слегка старомодным, с

высоким туго накрахмаленным воротничком и жемчужной булавкой в галстуке. У него был странный высоко поставленный голос, и он редко брал слово. Как это ни странно, мне показалось, что этот человек, покрытый славой и почестями, страдал застенчивостью. При мысли, что я нахожусь в самом центре теоретической физики своего времени, я был на седьмом небе. Тем тяжелее было мое разочарование.

Милосердие советует опустить здесь имена участников семинара де Бройля, портреты есть во французском издании этой книги, в том числе его любимого ученика, носившего кличку **"Инцитатуса"**⁷ волновой механики. Одни - умерли, другие - забыты, и все совершенно не известны за пределами Франции.

История де Бройля поднимает непростой вопрос о гении, **кото-**рый делает великое, даже величайшее **открытие**, но только одно и после этого должен жить с этим всю свою, иногда долгую жизнь (для де Бройля это 60 лет). Эта проблема замечательно отражена в юмористическом рисунке, который я видел много лет тому назад. Первобытный человек сидит на камне в позе "Мыслителя" Родена, погруженный в глубокое раздумье. Рядом стоят двое его сородичей, и один шепчет другому: "Ладно, пусть он и открыл огонь, но что он сделал с тех пор?"

Де Бройль **открыл** огонь и был **первым**. Наверное, это открытие сделали бы другие, если бы он этого не сделал, но сделал это он. Ну, а что потом? Ни жизнь, ни квантовая механика не остановились, медленно, но победно двигаются вперед соперники: Шредингер, Гейзенберг, Дирак, Паули, Борн, Йордан, Крамерс... Но вторая великая мысль к гению так и не приходит и не придет, и физика, которому это невыносимо, сосредоточенного на отчаянной и бесплодной погоне за ней, **мало-помалу** окружают лстецы, бездарности, чудачки и шарлатаны. В результате проваливается в подвал французская теоретическая **физика**...

Конечно, я не был способен понять все это сразу. Прошло шесть месяцев, пока я убедился, что теряю драгоценное время, участвуя в этом семинаре, и ушел. Легко сказать **"ушел"**, но куда? Кроме Луи де Бройля и Фрэнсиса Перрена был тогда еще третий теоретик с мировой известностью - Леон **Бриллюэн**. (Ланжевена я не считаю, потому что он тогда посвящал все свое время политической деятельности, безусловно вполне положительной, но далекой от моих интересов.)

Бриллюэн не сделал **по-моему** открытий нобелевского масштаба (хотя сам он был иного мнения и даже высказал письменно свое мнение на этот счет, что скорее и повредило его карьере),

⁷ **Инцитатус** - имя лошади римского императора **Каллигулы**, которую по его приказу римский Сенат избрал в консулы.

3 А. Абрагам

но все-таки он сделал немало. Его имя носят разные явления и концепции (зоны Бриллюэна, функции Бриллюэна, рассеяние Бриллюэна, приближение Крамерса-Бриллюэна-Венцеля). Недавно его именем была названа лаборатория по нейтронным исследованиям в атомном центре Сакле. Он внес вклады в физику твердого тела, статистическую механику, теорию распространения волн, теорию информации и ее связь с понятием энтропии. Среди французских физиков он был самым известным за границей и хорошо осведомленным о том, что там делалось.

Бриллюэн был очень хорош собой, строен и элегантен, с мо-
ложавым лицом под белоснежной шевелюрой. Мне нравились его лекции в Коллеж де Франс о тензорном исчислении и его при-
менениях, и я робко предложил ему свои услуги. "Обратитесь к моему ассистенту", - был его краткий ответ. Его ассистент, некий Мариани, прекрасно играл в теннис, но на семинаре де Бройля я слышал его доклад, который отнял у меня всякую охоту заниматься с ним физикой (теннис я давно забросил). Прощай Бриллюэн!

После обзора всего, что могла мне предложить теоретическая физика, я повернулся к экспериментальной. Здесь выбор был еще меньше. Я обратился к моему бывшему профессору Шарлю Фабри. Он согласился принять меня в свою лабораторию, кото-
рая носила название "Лаборатория факультета наук Сорбонны". Но здесь (точно так же, как курс по ДИИ, которым заведовал Жюлиа, а вел Гарнье) лабораторией Фабри руководил мой старый знакомый Дармуа, о подвигах которого в области теоретической электростатики я уже рассказал. Как говорится в старом анекдоте, "это мне уже не понравилось". Дармуа решил направить меня на изучение эффекта Рамана и объяснил, что это такое. Я покинул его в глубоком смущении, совершенно потеряв те малые понятия об эффекте Рамана, которые у меня имелись. Руководителем моим "на поле битвы" был назначен господин Пейшес (Peychés), который впоследствии сделал блестящую карьеру в области промышленной химии, но в то время он был слишком занят подготовкой к защите своей собственной диссертации, чтобы заниматься мною. Он перепоручил меня бесшабашному молодому человеку (чью фамилию я забыл), который провел в лаборатории уже несколько месяцев и которого, как мне показалось, ничто не заботило, а меньше всего мои успехи в изучении эффекта Рамана. Возможно, мне не хватало выдержки и я должен был ухватиться за Рамана мертвой хваткой и терпеть. Возможно. У де Бройля я вытерпел шесть месяцев, а тут - меньше недели.

Второй моей попыткой было обращение к Пьеру Оже, с кото-
рым я познакомился на пресловутом "чае" Жана Перрена. Се-

годня (1988) Оже девяносто лет, но он полностью сохранил свои блестящие умственные способности. Известен он двумя крупными открытиями, сделанными еще до войны: так называемым "эффектом Оже" (где энергия возбуждения электрона расходуется не на рентгеновское излучение, а на изгнание из атома другого электрона) и широкими атмосферными ливнями космических лучей. После войны он прослужил много лет научным директором ЮНЕСКО.

После "чая" Оже дал мне краткое описание своих исследований в области космических лучей и передал меня в руки некоего Фреона (Fréon), одного из своих сотрудников, весьма молчаливого господина. На следующее утро я встретился с Фреоном в лаборатории. Он подвел меня к столу, уставленному электронными счетчиками, и предложил записывать каждые десять минут показания этих счетчиков. "А что потом?" - спросил я. "Когда наберем достаточное количество данных, подумаем, как их обрабатывать", - ответил он и оставил меня. Все утро я записывал показания счетчиков, но после обеда уже не вернулся. Опять не хватило выдержки.

Перед тем как завершить трагикомическую историю моих шести "одиноких лет" (скоро война положит им конец), я хочу сделать два замечания, которые выходят за границы моего личного опыта. Первое из них - то, что ни один из моих университетских наставников, здесь описанных, до сих пор не пользуется ни моим расположением, ни даже снисхождением. Это отчасти объясняется тем, что, может быть, за исключением де Бройля, никто из них (не знаю, заслуженно или нет) не вызывал во мне преклонения перед своей личностью и научными достижениями. Но не в этом дело - дело в системе, в проклятой системе, по которой работал тогда французский университет. Кто из моих наставников хоть раз попытался узнать у студентов, как они принимают его учение? Кто из них (как все американские профессора, с которыми мне приходилось встречаться позже) имел приемные часы, в которые принимал бы студентов по одному, и прислушивался к их проблемам? Кто из них советовал студентам, заинтересованным научной карьерой, какие книги или статьи им необходимо прочитать, на какие лекции ходить? По моему личному опыту студент был, как футбольный мяч: Перрен передавал его Оже, а тот - Фреону; Фабри передавал Дармуа, Дармуа - Пейшесу, Пейшес - Анониму; Бриллюэн передавал Мариани. Один де Бройль - статуя командора - ничего никому не передавал.

Нет сомнений, что в этой трагикомедии есть и моя вина. Я уже сказал и повторю вновь, что мог бы проявить больше настойчивости и упорства. Стоит ли об этом жалеть, я не знаю;

мне кажется, что среди моих более настойчивых современников тех времен никто меня **по-настоящему** не обогнал. Мне говорили, что Фредерик Жолио, Жолио тридцатых годов, был другим, и я готов этому верить. Иногда я думаю, что если бы с ним встретился в то время, то, вдохновленный им, пожалуй, сделал бы **что-нибудь** стоящее гораздо раньше. Напрасно сожалеть - прошлое не изменить.

Второе мое замечание имеет гораздо более общий характер. (Я сказал бы эпистемологический характер, если бы не боялся, как чумы, громких слов.) В списке книг, которые я изучал для самообразования в области теории относительности и квантов, нет ни одной оригинальной работы великих физиков, которые создавали эти науки, - Лоренца, Эйнштейна, Планка, Бора, де Бройля, Шредингера, Гейзенберга, Паули. В нем только учебники и монографии, написанные другими, которые осилили и переварили оригинальные работы на пользу студентам. Монография Дирака **и**, в некоторой степени, первая книга де Бройля являются (по крайней мере, для меня) единственными примерами того, как сами творцы потрудились изложить плоды своих трудов. Это замечание имеет общий характер. Когда научные результаты достаточно твердо установлены и ясно осмыслены, пишутся книги, в которых эти результаты изложены и объяснены, и никто, кроме философов и историков науки (если только они способны это сделать), оригинальных статей больше не читает. Можно об этом сожалеть, но так оно и есть.

Какой контраст с гуманитарными науками! Можно ли представить себе философа, изучающего Маркса, Фрейда или Гегеля, который удовольствовался бы монографиями других авторов или комментариями и не стал бы изучать оригиналы. В диспутах между гуманитариями всегда можно услышать: "Вы неправильно поняли то, что Гегель сказал", или "перечитайте Маркса", или "**Фрейд** никогда этого не говорил". Физиков не беспокоит сегодня, что именно Бор, или Гейзенберг, или Эйнштейн подразумевали в своих статьях или сказали на какой-нибудь конференции, а тем более Гюйгенс или Лагранж. Их открытия теперь стали достоянием **всех**; их имена и идеи живут среди нас и значат больше, чем написанные ими труды. Если бы я не боялся оскорбить моих католических друзей, я сказал бы, что кровь и плоть этих великих создателей перешла в нас, чтобы утолить наш голод и нашу жажду, и что мы больше не нуждаемся в личном контакте с ними. Не в этом ли их величайшая слава?

Из этого тусклого периода моей жизни два эпизода сохранились в памяти: лето 1937 и лето 1939 года. Летом 1937 года "Объединение студентов факультета **наук**", где искатели тапиров

оставляли свои адреса для клиентов, уведомило меня, что со мной желает познакомиться некий господин Марсель Шлумберже (Marcel **Schlumberger**). Общеизвестно, что гениальный предприниматель Марсель Шлумберже и гениальный изобретатель его брат Конрад после первой мировой войны основали фирму, которая сегодня (1988) является крупнейшим международным концерном, хотя я лично этого не знал тогда. Господин Марсель Шлумберже **объяс**нил мне кратко, но толково, в чем заключался принцип их метода электрической разведки нефти, который и сегодня является **осно**вой империи Шлумберже, перед тем, как сообщить мне, чего он от меня хочет.

Его сын Пьер (мне кажется, так его звали) только что женился и решил (я думаю, что решил его папа Марсель) провести медовый месяц (вернее, два) в Нормандии (Normandie) в семейном имении **Валь-Рише** (Val Richer). Все это меня мало касалось. Но Пьер только что провалился на экзамене по общей физике (том самом, который я блестяще выдержал три года тому назад), и его отец предложил мне провести два месяца в **Валь-Рише**, чтобы заниматься с его сыном каждое утро по три часа за 1500 франков в месяц и на полном пансионе. Отец хотел, чтобы на осенней сессии наследник империи получил диплом, чтобы не ударить в грязь лицом перед служащими фирмы. Хотя был я молод и неопытен, но сразу понял, как рискованно было это предприятие. Было очевидно, что этому Пьеру, богатейшему молодому человеку и к тому же молодому мужу, будет неловко с репетитором, **кото**рый на год моложе его. Но жалованье было привлекательным, и я согласился. Успехом это не увенчалось.

Читатель мог убедиться, что я не боюсь переложить вину за свои неудачи на других, когда считаю это заслуженным. Не вижу повода, чтобы и далее не продолжать в том же духе.

Я искренне проникся ответственностью. Каждый вечер после ужина я удалялся в свою комнату, чтобы в течение двух-трех часов подготовить с большим усердием урок на следующее утро, обложившись учебниками, конспектами и сборниками задач. Не сомневаюсь, привелось мне осенью сдавать этот экзамен, я **выдер**жал бы его блестяще. Но, увы, экзаменующимся был не я. Мой тапир был не глуп, но с ленцой. Надо признать, что отец его поставил нас обоих в трудное положение. Молодой **муж** являлся на урок с опозданием, невыспавшийся, с опухшими глазами, и мысли его были, очевидно, заняты чем угодно, но не физикой. Несмотря на мои усилия и, возможно, его, наши отношения оставались натянутыми. После обеда я никогда с ним не сталкивался в этом обширном барском доме. Что касается остальных **много**численных домочадцев, я был для них как бы прозрачным: никто

меня не замечал. После обеда, если не шел дождь (а лето было дождливое), я гулял по усадьбе или сидел в **комнате**, работая над своей собственной программой или перелистывая старые **бульварные** пьесы, целое собрание которых валялось в моей комнате. Мне было совсем невесело.

Было, однако, одно мгновение краткого, но сильного **удовлетворения**. Каждое лето в **Валь-Рише** устраивалась облава на кроликов, которыми кишела усадьба. Делалось это с помощью дрессированных хорьков. Егерь вталкивал хорьков в норки, а охотники располагались на определенных для них **местах**, чтобы начать пальбу, когда несчастные длинноухие выскочат из норок, как ошпаренные. Полагаю, все знают, что собой представляет хорек. Это убийца. Более жестокого зверя я не знаю: он убивает для наслаждения. Вся проблема дрессировки заключается в том, чтобы приучить зверя умерить свою жажду крови настолько, **чтобы** он выгонял из норки как можно больше кроликов, вместо того чтобы резать их всех и, насосавшись крови, завалиться спать здесь **же**, в норке. Дрессировка - долгое и крайне неприятное занятие, потому что злющие зверюги всегда норовят прокусить руку дрессировщика. Мне говорили, что хорошо дрессированный хорек обходится в 800 франков, более половины моего месячного жалования.

В порыве (непривычной) любезности мне дали ружье, зарядили его и объяснили, куда целиться, когда выскочат кролики. Я не раз стрелял в тире и, **по-моему**, неплохо, но никогда в такую подвижную мишень, как кролик, мчащийся прямо на меня. Я поднял ружье, прицелился, нажал курок и сразу **сбил**...хорька. Я был бы рад сказать, что сделал это нарочно, но это было бы неправдой. Мне казалось, что, уничтожив этого отвратительного зверька одним выстрелом, я очистился от всех мелких обид и раздражений, которые испытал в **Валь-Рише**. Я извинился и вернул егерю ружье, которое сослужило свою службу.

Как и следовало ожидать, мой тапир Пьер провалился. Я не испытал по этому поводу большой горечи. Не надо было гнаться за двумя зайцами. Пьер сам выписал мне чек, чего ни до, ни после никто из моих тапиров не делал. Иногда я себя спрашиваю, а что, если бы Пьер выдержал экзамен. Предложил ли бы мне его отец место на своем предприятии?

Лето 1939 года, тоже рабочее, было куда приятнее. О нем я храню светлые воспоминания, и только Бог **знает**, как нужны мне были эти светлые воспоминания в течение следующих шести лет. К тому же это был первый **раз**, когда мой ВФХЕ (помните ВФХЕ с трилобитами?) мне хоть на **что-нибудь** пригодился.

В бретонском городке **Роскоф (Roscoff)** на берегу моря было тогда ("**и** здравствует еще **донице**") научное учреждение морской зоологии, куда каждое лето собирались студенты со всего мира, чтобы изучать разные морские создания: морских ежей, крабов, медуз, спрутов, ракушки тутти **кванти**. У меня был товарищ-зоолог, который работал над диссертацией. Он рассказал мне, что его научные поездки в Роскоф проходили в чудесной атмосфере дружеского веселья. Участники жили и прекрасно питались в **роскофской** гостинице на льготных условиях благодаря соглашению с научным учреждением. Он заверил меня, что с моим дипломом ВФХЕ ему легко выдать меня за зоолога и обещал договориться со своим научным руководителем, чтобы получить для меня место в гостинице. Это ему удалось, и я стал членом веселой компании зоологов, которым мои **физико-математические** знания (виртуальные или реальные) сильно импонировали.

Работа включала морские экскурсии (их полагалось называть **экспедициями**), в которых я принимал участие с большим **удовольствием** и во время которых мои друзья вылавливали из моря **многочисленные** объекты своих исследований. Среди нас было много иностранных студентов и студенток, последних больше половины, т.е. гораздо больше, чем на **физико-математическом** факультете. По вечерам танцевали. Я танцевал так же, как и рисовал, однако это не мешало мне веселиться, как никогда раньше. Больше всего меня поразило то, что имена руководителей моих новых друзей произносились в контексте, который подразумевал, что студенты имели с ними частые деловые, а порой и дружеские отношения. Ничего подобного в своей сфере я не встречал. Даже напряженность и соперничество, которые под конец я стал замечать между членами коллектива, казались мне предпочтительнее мертвящего одиночества, которым страдали мои собственные занятия. Есть, конечно, у нас поговорка "**В** чужом лугу трава зеленее", но к данному случаю она не имеет отношения. Жизнь зоологов напоминала мне ту, о которой я мечтал (а до меня мои герои, вымышленные или нет, - Эроусмит и Писарев).

Я сохранил воспоминание о трех девушках, которые некоторым образом звались одинаково: об англичанке с фамилией **Литл (Little)**, шведке Еве Клейн (Eva Klein) и француженке **Клодине** Пети (Claudine Petit). Все три фамилии означают "**маленькая**". Литл была самой красивой, но вокруг нее всегда вертелось так много парней, что я даже не пробовал за ней ухаживать.

Клодина Пети, самая молоденькая (ей было семнадцать лет) и тоненькая, как стебелек, вызывала во мне чувства старшего брата. Во время германской оккупации она вошла в Сопротивление и вела себя героически. Ее сложение не раз спасало ей жизнь:

в метро, преследуемая полицией, она могла проскользнуть на перрон через узенькую щель, которая оставалась после закрытия автоматической двери. Я ее видел недавно (в 1987 году): она преподавала зоологию в университете, стала гораздо *плотней* и собиралась уйти на пенсию. Ева не была похожа на типичную шведскую девушку: небольшого роста, с легкой склонностью к полноте и необыкновенно милая. Мы скоро подружились, хоть и не совсем *по-братски*. Когда пришло время уезжать ей в родную Швецию, которая в этом жестоком тридцать девятом году казалась гаванью мира, я провожал ее с грустью, которую, мне кажется, она разделяла. Где она теперь?

После *Роскофа* трое из нас - *Клодина*, ее подруга Симона (славная девушка богатырского сложения и веселого нрава, непримиримая феминистка) и я - колесили по Бретани пару недель, останавливаясь на ночь в так называемых молодежных гостиницах, которых в Бретани была целая сеть. Там мы находили скромный ночлег и возможность разогреть свою пищу. Утром перед уходом требовалось все оставить в безукоризненной чистоте. Иногда мы останавливались на фермах, где нас угощали яичницей на сале и горячими с пылу блинами, с которых стекало соленое сливочное масло. Запивали все эти прелести мы домашним сидром. Ночь проводили на сеновале. Один раз, когда мы ввалились на двор фермы, сгибаясь под тяжестью рюкзаков, одна жалостливая старушка спросила меня: "А сколько тебе за это *'платят'*, паренек?" Клодина была коммунисткой (тогда), Симона - троцкисткой, и обе упрекали меня в расплывчатости моих политических убеждений. Но все трое соглашались с необходимостью бороться с коричневой чумой, которая надвигалась на нас. На том мы и расстались. Для меня начиналась новая фаза - трагическая или, скорее, трагикомическая.

Армагеддон или Радости эскадрона

Не в генералы, так в капралы

Разочарование. - Провинциальная Франция. - Артиллерия: ученье войска, велосипедная прогулка, идем ко дну

В октябре 1939 года, вскоре после объявления войны, я был призван в город Шатору (*Châteauroux*) в Депо **372-го** полка Тяжелой Артиллерии на Рельсах (название которого я сокращу в ТАР).

Французская армия меня страшно разочаровала. Оценку нашим университетам я дал уже раньше. Наша политика - гнусная [как у Шарля Мораса (*Charles Maurras*) и Пьера Лаваля (*Pierre Laval*)] или нелепая [как у Леоана Блюма (*Léon Blum*) и Эдуарда Даладье (*Edouard Daladier*)] - вызывала у меня или отвращение, или презрительное снисхождение. Нашу прессу, особенно после мюнхенского соглашения с Гитлером в 1938 году, я находил *со-звучной* с нашей политикой. После постыдного соглашения между Гитлером и Сталиным в 1939 году позиция французской *компартии* тоже не вызывала уважения. Смейтесь, если хотите, но я верил (и это только показывает, что может сделать *систематическое* "промыывание *мозгов*" с людьми, не лишенными способности к критике, к которым я себя причислял), что *наша армия - лучшая в мире*.

Наши генералы выучили уроки бойни прошлой войны; наши самолеты, наши танки и наши противотанковые пушки были лучшими в мире; и за непроницаемой линией Мажино вся нация с оружием в руках под руководством лучших в мире офицеров стояла готовая раздавить самую ужасную тиранию в истории человечества. Я тоже был готов сыграть свою скромную роль в этой трагедии. Я баловал себя надеждой, что правительство, *которое* наверняка своевременно заготовило перепись всех научных сотрудников страны, призовет меня в *какую-нибудь* *ученую* часть, вроде звуковой локации, противовоздушной артиллерии, обнаружения мин или даже к еще более научной деятельности вроде расшифровки враждебных кодов или улучшения средств связи. В борьбе с Гитлером я готов был служить, где угодно.

Ничего не имел я и против службы в тяжелой артиллерии. Я испытывал любопытство к этим гигантским орудиям, наводимым, наверное, с научной точностью, чтобы *изрыгать* во вражеский тыл громадные снаряды, разрушая там штабы или заводы. Правда, у меня промелькнула мысль, что по своей природе такого рода *артиллерия* должна находиться довольно далеко от передовых линий, но я почему-то прогнал эти трезвые мысли.

На станции Шатору нас поджидал *унтер-офицер*, который кое-как прогнал маршем наше штатское стадо от вокзала в казарму. Казарма как снаружи, так и внутри ничем *не отличалась* от того, что я видел в фильме "Радости эскадрона", действие которого протекает в конце *прошлого* столетия и основано на знаменитой *сатире* Жоржа Куртелина (*Georges Courteline*). Мне не понадобилось и недели, чтобы убедиться, что все было, как в "Радостях эскадрона". Нужно ли говорить, что никаких пушек там не было? Не было ничего! Тут я преувеличиваю: были башмаки, носки, длинные подштанники, обмотки, штаны, фуфайки, шинели - все,

кроме подштанников, было цвета хаки. Но не было ни **гимнастерок**, ни пилоток. Так как нет ни армии без отдания чести, ни отдания чести без головного убора, нам выдали впопыхах черные береты. Мне попался очень маленький беретик, совершенно незаметный на моей шевелюре, в те времена черной и густой. Первый же офицер, которому я **"козырнул"** (молодцевато, как мне казалось), заорал: "Нельзя отдавать честь с непокрытой **головой**". На что я любезно ответил: "Она покрыта, мой лейтенант". Забыл еще сказать, что нам выдали винтовки *довоенные*, т.е. бывшие на вооружении еще до войны 1914-1918 годов, образца **"гра"** (Gras), которые уже в то время были заменены винтовками **"лебель"** (Lebel).

После медицинского осмотра и разных прививок началось то, что называлось "школой солдата", целью которой было превращение стада штатского в отряд **солдатский**, способный не сражаться, конечно, но, по крайней мере, передвигаться в организованном порядке под командой **унтер-офицера**. Кроме того, совершенно необходимо для военного дела было освоить две премудрости: "койка в квадрат" (lit ai cage) и обмотка обмоток. В наше время (увы!) забыта воспитательная роль обмотки. Всякий дурак сумеет носить брюки, краги или сапоги. Но обмотки - совсем другое дело! Обмотать их так, чтобы они плотно облегли икры и не сползали во время маршировки, **как...** (здесь следует непеводимое выражение наших **унтер-офицеров**), - целое искусство, которое не постичь в один день. Офицеры мошеничали - они носили обмотки из эластичной материи, которые облегли ногу, исключая вышеупомянутое унижение их носителя, но рядовым такие обмотки не полагались. За год до призыва, как студент, я получил некоторую военную подготовку, но ни "койка в квадрат", ни обмотки сюда не входили.

Затем началась муштровка. Нас учили выделять с ружьем все, что угодно, кроме стрельбы. Затем пришла **теория**: воинские чины, права и обязанности рядового артиллериста, вся гамма наказаний, обязанности часового и т.д. На все это потратили три месяца, за которые не было сделано ни одного выстрела. В университете военный инструктор при вербовке говорил нам, что после призыва нас скоро пошлют в артиллерийское училище в Фонтенбло (Fontainebleau), а оттуда на фронт с младшим офицерским чином юнкера. Все оказалось совсем не так.

Мне стало ясно, что мобилизовали слишком много народа и не знали, что с ним делать. Вместо того чтобы *убивать* неприятеля, старались *убить время*. Оглядываясь назад, я не жалею этого нелепого времяпрепровождения по двум причинам: **во-первых**, если бы меня послали на фронт раньше, во время так называемой **"по-**

тешной **войны"**, до мая 1940-го года, я там тоже бил бы баклуши, хотя, правда, в чине юнкера (а значит, в эластичных обмотках); и **во-вторых**, или попал бы в плен (если бы вовремя не удрал), или **"в лучшем случае"** (с точки зрения благородства) был бы убит. Кроме того, за прошедшие три месяца я познакомился в казарме с **людьми**, которые возбуждали мое любопытство и которых бы я иначе никогда не повстречал. Это была глубинная, провинциальная Франция. Большинство моих соседей были сыновьями фермеров, было несколько сельских батраков, несколько сыновей торговцев скотом, два мясника, один водопроводчик и один, как я полагал, сутенер. Из "интеллигентов" кроме меня были семинарист, коммивояжер и учащийся на бухгалтера. Что делал в такой компании **доктор наук?** (Да, я солгал; не стал я там вдаваться в длиннейшие объяснения, которые знакомы читателю по предыдущим страницам, *почему* не стал доктором, и я решил сам присвоить себе **степень**, которой так никогда и не был удостоен.)

Мясники и торговцы скотом отличались хорошим цветом лица и уверенной осанкой людей, вскормленных на обильной и **разнообразной** мясной пище. Они носили на груди на кожаном шнурке ладанку, с которой не расставались и под душем, так как в ней держали деньги (и немалые). Когда после прививок нас стали по вечерам выпускать в город, они предпочитали военному **котлу** городские рестораны или организовывали в казарме частные пиршества из роскошных посылок, присланных любящими родителями. Предполагаемый сутенер лип к ним, как банный **лист**, и расплачивался за угощение, вероятно, профессиональными советами. Они были "аристократами" казармы. К тому же они еще не знали о своем светлом будущем - четыре года быть хозяевами "черного" рынка во время германской оккупации.

Сельские батраки были "париями". Я был поражен, как хило и тщедушно они выглядели. Они были предметом насмешек и издевательств соседей. Один из них со звучной фамилией Шантр (**Chantre - по-французски** певчий) признался мне, что больше всего на военной службе ему нравилось, что поздно будили и хорошо кормили. (Будили - в шесть, кормили - фасолью, чечевицей, рисом, капустой и куском жирной баранины или жилистой говядины. Хотя год спустя, после прихода немцев, я сам бы соблазнился таким меню.) Каждый раз, когда дежурство падало на бедного Шантра, его разыгрывали одним и тем же образом. Обязанностью дежурного было встать за полчаса до других, подмести пол и мчаться на кухню за нашим завтраком - хлебом и коричневой жидкостью, называемой кофе. Через час после вечернего отбоя крепко спавшего Шантра будили, уверяя, что он проспал утренний

подъем. Несчастный наскоро подметал и бросался через пустой и темный двор на кухню, конечно, запертую. Вот весело было!

Среди нас не было совсем **неграмотных**, но некоторые далеко в этом не продвинулись. Один крестьянин представился как Арзак и, когда сержант спросил, как это пишется, ответил безапелляционно: **"Да никак"**. С теорией тоже были затруднения. На коварный вопрос, сколько нашивок у **"двунашивного"** лейтенанта, мой сосед Жакмэн осторожно ответил: "Меньше одной ему никак нельзя". Третий, чьи способности к индукции заслуживали всякой похвалы, бойко перечислял военные чины: "сержант, старший сержант, лейтенант, старший лейтенант, ..., генерал, *старший генерал*". (Читателю наверно будет интересно узнать, что наш великий де Бройль был демобилизован как **"аджюдан"** - это следующий **унтер-офицерский** чин после старшего сержанта - в 1919 году, после шестилетней военной службы.)

Запомнилась еще одна история той поры. Мы на дворе чистили картошку. Кто-то из моих товарищей затянул песенку весьма сомнительного содержания, остальные поддержали. Проходящему мимо унтеру показалось, что пели Интернационал. (Петь его во французских казармах никогда не поощрялось, а в военное время, да еще в 1939 году, после **советско-германского** договора вообще было **недопустимо**.) Нас вызвали к капитану, где все побожилось, что и не думали петь Интернационал. Тогда капитан обратился к одному из нас, так сказать, профессионально правдивому, к семинаристу, и спросил у него, как называлась песня, которую пели его товарищи. Семинарист побледнел. В конце концов все разъяснилось, и дальше капитана дело не пошло.

Пришло Рождество, а с ним и рождественский отпуск. А гимнастерок все еще не было. Интендантство разыскало где-то партию странных **темно-синих** курток с красной каймой, в которых нас и разослали по домам. (Некоторые уверяли своих доверчивых родителей, что это была парадная форма десантников.)

После отпуска, в январе 1940 года, меня отправили в городок Немур (Nemours) в восьмидесяти километрах от Парижа в, так называемую, специальную группу (СГ) в качестве кандидата в УОЗ (ученик-офицер запаса, т.е. кандидат в офицеры запаса). После трехмесячной подготовки в СГ был экзамен на поступление в Артиллерийское училище в Фонтенбло в качестве УОЗ. Там проходили вторую трехмесячную подготовку, затем был выпускной экзамен, по которому все УОЗ распределялись по фронтовым **частям**, выдержавшие - юнкерами, провалившиеся - сержантами. Так подошел конец июня 1940 года.

Во Франции все считали, что время на нашей стороне. Плакаты призывали сдавать металлический лом, чтобы "ковать из него

сталь **победителей**", и утверждали с железной логикой: "Мы победим, потому что мы сильнее". Никто никуда не торопился, кроме немцев, но этого мы не знали.

Уход в СГ, куда брали только добровольцев с образованием не ниже среднего, представлял моральную проблему: все УОЗ шли в полевую артиллерию, которая располагалась ближе к фронту и, значит, была опаснее. Из наших четырех *интеллигентов* семинарист и я *бесстрашно* записались в полевую, счетовод и коммивояжер предпочли остаться. Народ в СГ сильно отличался от казармы в Шатору образованием (все **имели**, по крайней мере, **Бак**), а еще больше настроением. Большинство, в том числе и я, серьезно хотели научиться воевать.

Мы научились разбирать, чистить и снова собирать **лебелевскую** винтовку. Некоторые (не я) могли делать это с закрытыми глазами. На стрельбу в цель на каждого отпустили по две **дюжины патронов**. Нам *показали* пулемет и *объяснили*, как с ним обращаться. Наконец, мы увидели **"семидесятипятку"**, или просто **"75"**, красу и гордость французской полевой артиллерии, - пушку калибра 75 миллиметров. В 1914 году это была, бесспорно, лучшая в мире полевая пушка, но на дворе стоял 1940 год. Мы изучали ее очень подробно и узнали о ней почти все, что можно было узнать: число смазочных отверстий (32), вес казенной части (26 килограммов) и число ее винтовых нарезов (я забыл сколько). На каверзный вопрос, куда попадает снаряд, вылетая из дула, мы научились отвечать: "В область внешней **баллистики**".

Я сказал, что мы знали *почти* все про **"75"**. На вопрос: "Каков состав жидкости гидравлического тормоза полевого орудия калибра 75 **миллиметров?**" - требовалось ответить: "Состав жидкости гидравлического тормоза полевого орудия калибра 75 миллиметров - военная **тайна**". Но, хотя это и было военной тайной, все **знали**, что эта жидкость замерзает между -15 и **-20°C**, что исключало употребление этого орудия в холодном климате.

Эта проблема возникла во время **советско-финской** войны, которая была тогда в полном разгаре. Нашему главному штабу хотелось подсобить Финляндии. Было решено послать финнам не бесполезное орудие "75", а его предшественника - полевое орудие де Банж (de Bange). Это было прекрасное средневековое оружие; проблема замерзания жидкости гидравлического тормоза решалась изящно и просто - *отсутствием* гидравлического тормоза, т.е. отдачей орудия *без возврата на прежнюю позицию* (куда его лихорадочно вкатывала обратная прислуга). Ритм огня, четыре в минуту для **"75"**, падал у орудия де Банж до одного в три минуты. Я знаю, о чем говорю - в Фонтенбло я сам стрелял из этого орудия. Счастливики финны!

Был курс ИАО (инструкция по артиллерийскому огню), на котором мы учились подсчитывать разные параметры ведения огня, учитывая координаты мишени, скорость ветра и тип боеприпасов - снаряда и взрывателя. Мы научились также делать топографические съемки. Все это было отнюдь не так плохо. Плохими и, пожалуй, возмутительными были жизненные условия. Нас поместили в сыром, холодном и темном подвале заброшенной пивоварни. Начало зимы было очень холодным, и почти все хворали инфлюэнцей или ангиной. С температурой ниже **38,5°С** в санчасть не принимали. Спали на соломенных матрацах прямо на полу. Условия для умыванья были **ужасные**, и только самые закаленные и самоотверженные мылись ниже шеи. Единственное преимущество холода заключалось в том, что не было тяжелого запаха, свойственного казармам. Однажды у меня произошел инцидент со старшим сержантом. За нечищенные башмаки он обозвал меня **"грязной свиньей"**, ставя в пример свои собственные, начищенные до блеска. Возмущенный, я бросил ему вызов разуться, чтобы сравнить и чистоту ног (свои я как раз мыл в то утро). Он вызова не принял и после этого ко мне больше не приставал. Мне могли бы сказать: **"Чего вы жалуетесь?** Ведь была же война, и вы должны были себя считать счастливыми, что сидели в тылу." Однако многие из нас совсем *не* рады были сидеть в тылу, и, кроме того, тыл или не тыл, держать людей в свинских условиях **из-за** халатности и бездарности отдельных людей было непростительно.

Однажды в остром припадке лени и уныния я решил **избавиться** от скучной практики хоть на день и записался на медицинский осмотр, где пожаловался на боли в груди. Военный врач отнесся к этому очень серьезно, тщательно выслушав сердце, вынес диагноз **"порок митрального клапана"** и предписал мне явиться на будущей неделе в городской госпиталь для более тщательного осмотра. Я не сомневался, что там мне предпишут увольнение. **"Нечего радоваться"**, - прибавил он, - **"с вашим пороком жить вам недолго, а пока не стоит прерывать практику"**. Как всякий симулянт, я мечтал надуть врача, но на этот раз, как говорят у нас, **"невеста была слишком хороша"**. Я вернулся в казарму расстроенный. Как назло, на следующий день у нас **кто-то** заболел скарлатиной, и объявили карантин. Обучение продолжалось, а вот в город (и, **значит**, в госпиталь) не пускали, и в течение трех недель карантина я грустно **"нянчил"** свой митральный порок. (Карантин - перевод **"Quarantaine"**, т.е. "сорок дней", так что "три недели карантина" это **оксюморон** (охутогон). Да, да, есть такое слово, оно означает внутреннее противоречие, как "горячий лед" или "культурный старший сержант".) Наконец, стало возможным явиться

в госпиталь, где я рассказал врачу про свой порок. Вместо того чтобы осмотреть меня, он спросил фамилию нашего врача и расхохотался: **"Он помешан на митральном пороке и присылает нам двоих-троих с этим диагнозом каждую неделю"**. Бог наказал меня за симуляцию, но милостиво.

Отношения в нашей СГ были дружеские, и, несмотря на интерес, который я проявил к "глубинной и нутряной" Франции, общение с товарищами, в большинстве студентами **"отсрочниками"**, как и я, было более легким.

Помню одного из них, которого за едкий юмор и густые усы прозвали Грушо (в честь Грушо Маркса - американского комика). Он всегда поднимался последним, но на переключку являлся первым, так как спал одетым. Встав с постели, он надевал пижамку, закуривал сигарету и был готов приветствовать новый день. Поводом к этому был все тот же холод.

После трехмесячных занятий в СГ был выпускной экзамен. Из 250 кандидатов я вышел первым, доказывая тем, что кроме штатских талантов, которые уже года четыре не имели никакого признания, у меня были и военные способности. До сих пор моя скромная военная карьера протекала согласно плану. Оставался последний этап до фронта - Фонтенбло. Но там произошло неожиданное.

После Немура первым в Фонтенбло было впечатление замечательного комфорта. Койки с чистыми простынями, душ, парикмахер, приличная пища. Зато дисциплина была гораздо строже. Никакой небрежности во внешнем облике не терпели. Здесь я не смог бы и подумать о том, чтобы вызвать старшего сержанта на соревнование в чистоте ног. Почти все инструкторы были кадровыми офицерами. Пренебрегая обмотками (даже эластичными), о которых я мечтал в Шатору, они носили сапоги и шпоры и ходили с "манежным хлыстиком" под мышкой. По всему училищу струился конский аромат. Ученики имели выбор между "конной" и **"автомобильной"** артиллерией, но все воспитательные **строгости** военной выправки были, конечно, на стороне конной. Как и обмотки, в этом отношении лошадь была бесценна. Я выбрал автомобильную артиллерию потому, что мое отношение к лошади лучше всего можно определить как **уклончивое**. Помню, как **осенью** 1934 года, после того как я выдержал первые четыре зачета на лицензиат, я получил через товарища предложение на место домашнего учителя в ...Чили. Мой наниматель, француз, хозяин громадной асиенды (поместья), искал студента для воспитания своих детей - сына и дочери, двенадцати и четырнадцати лет. Я мог бы соблазниться, если бы он не прибавил: **"Вам понравится -**

В Фонтенбло я открыл два новых упражнения: **"тир Реми"** и стрельба на полигоне. Тир Реми (имя его изобретателя) был великолепной игрушкой. Представьте себе миниатюрный пейзаж с масштабом в одну тысячную, с **дорогами**, деревьями, колокольнями, речками, которые вы наблюдаете в бинокль. На этом пейзаже вам указывают объект и дают его координаты. Вы подсчитываете в уме и объявляете, как можно скорее, данные для стрельбы. На пейзаже появляется, более или менее далеко от объекта, крошечный кусочек ваты, симулирующий взрыв скомандованного вами выстрела. Вы подсчитываете поправки к предыдущей команде и так далее до попадания. Оценка зависит от числа выстрелов и длительности стрельбы. Я был не из худших. Теперь, когда такие упражнения делаются на компьютере, это выглядит **старомодно**, но в 1940 году это было хорошей практикой.

В связи со стрельбой в тире Реми я запомнил случай, который показал мне, что наш полковник был не глуп. Однажды он нагрянул во время упражнения. Инструктор, конечно, вызвал нашего чемпиона, но вместо обычных двух выстрелов тому понадобилось пять или шесть, что свело среднюю его оценку с 18 к 14. Раздосадованный своей неудачей, он **"ляпнул"**, что стрелял плохо потому, что был смущен неожиданным появлением полковника. "Благодарю за искренность, но прошу инструктора записать вам нуль. Если офицер смущается присутствием начальника во время потешной стрельбы, как же он будет реагировать, когда будет стрелять в неприятеля и еще к тому же над огнем неприятеля." Тот же полковник помог мне осмыслить разницу между способностями к военной службе и качествами бойца.

На полигоне мы стреляли **по-настоящему** (хотя без неприятеля) из "75" (и пару раз из орудия де Банжа). И тут я был неплох. Но чтобы стать хорошим артиллеристом, мне не хватало одного военного и одного боевого качества.

Моей главной военной слабостью была выправка. Как бы я ни старался (хотя, правду сказать, я не так уж и старался), мои башмаки никогда не были вычищены до требуемого блеска, гимнастерка не была застегнута как следует, пилотка сидела на голове не под тем углом как следует, и даже молодецкое **отдавание** чести достаточно не всегда удавалось мне. В СГ, где большинство инструкторов были из запаса и где по объективным причинам невозможно было выглядеть прилично, на это мало обращали внимания. Мне было наплевать, окончу ли я училище среди первых (я здорово изменился), я лишь хотел поскорее начать стрелять в немцев.

Была у меня и **боевая** слабость, про которую я знал, но которая оказалась особенно серьезной для артиллерийского офицера:

я был совершенно лишен чувства ориентации. В полевой практике требовалось постоянно быть способным ответить на вопрос: "Где неприятель? Где север?" Я быстро терял север, а затем и неприятеля. Прибыв из СГ в Фонтенбло первым, я постепенно растерял все свои преимущества.

Несмотря на все эти слабости, мои отношения с инструкторами были неплохими. Они были бы еще лучше, если бы я был уверен, что они интересуются ходом войны. Но то, как война развивалась (а начинала она развиваться в высшей степени угрожающе), их мало беспокоило.

В один прекрасный день, в конце мая или в начале июня (немцы вступили в Париж 10 июня 1940 года, а это было дней за десять до **того**), у нас были назначены на утро практика по **отдаванию** чести саблями (да, да!), а на послеобеденное время экзамен по топографии. День был на самом деле прекрасный - чудный, весенний день. Не успели взяться за **сабли**, как нам объявили, что программа дня будет проведена не в Фонтенбло, а во Втором французском артиллерийском училище в Пуатье (Poitiers), примерно на 400 километров южнее Фонтенбло, и что транспорт для переброски в Пуатье будет велосипедным. Нас тотчас послали получать велосипеды и пайки.

Мы отправились в Пуатье в безукоризненном порядке, двигаясь попарно по дорогам Франции. Погода стояла чудесная, и, если бы я не был так обеспокоен исходом войны, я наслаждался бы нашей трехдневной прогулкой. Мы видели в небе несколько немецких самолетов, **но**, очевидно, "цвет французской артиллерии" их мало интересовал. В Пуатье мы провели один день, но с саблями и топографией опять ничего не вышло. Мы двинулись дальше, по направлению к провинции **Лимузена** (Limousin), и нашли "тихую пристань" в местечке Сен-Сир (Saint-Cyr). По иронии судьбы то же имя носит знаменитое французское военное училище.

В Сен-Сире мы застряли на три месяца, ожидая решений высшего начальства. Офицеры были гораздо более озабочены своими будущими назначениями, чем исходом войны. Поведение **некоторых** из них становилось весьма непривлекательным. Капитан объяснил, что мы были разбиты потому, что отдали все **противо-**танковые пушки республиканским войскам в Испании. Я хотел возразить, но, подумав, промолчал. И не пожалел об этом. Один из нас сказал, что слышал призыв **какого-то** генерала де Голля переправляться в Англию и продолжать борьбу, - за это его посадили под строгий арест. После перемирия с немцами, подписанного маршалом **Петеном** (Pétain), большинство УОЗ продолжали сохранять иллюзию занятий, еще мечтая на руинах нашей

страны о своих юнкерских нашивках. Вид этих идиотов и их инструкторов мне был невыносим.

К счастью, я спас во время военного крушения своего верного **"Куранта и Гильберта"** и утешался им. В школе Сен-Сира один из классов был превращен в гауптвахту, и там был электрический свет. Попасть туда мне было совсем нетрудно (за какой-нибудь проступок), чтобы спокойно читать по вечерам. **Конечно**, такого рода поведение имело свои последствия. И когда занятия подошли к концу, мне, считавшемуся одним из первых при поступлении в знаменитое офицерское училище Фонтенбло, достался чин не юнкера, не сержанта, а *старшего капрала*, который, как всем известно, даже не **унтер-офицерский** чин, а причислен к рядовым. Sic transit gloria mundi, как говорят римляне.

У меня были более серьезные заботы. В конце августа, когда я был демобилизован, мне сообщили, что въезд в Париж мне запрещен. Да я и не собирался лезть в ловушку, где сидели немцы. Напомню читателю, что после перемирия Франция была разделена на две зоны: северная (или оккупированная), где немцы правили сами, и южная (так называемая свободная), где они правили через своих французских лакеев и где для таких, как я, было не так опасно. Я решил поехать на первое время в курортный город Канны (Cannes) на Средиземном море, где уже находились моя сестра и ее муж, тоже только что демобилизованный. Мои родители остались дома в Круаси, в оккупированной зоне. Я доехал до Канн не быстро; как старший капрал, я ездил бесплатно только на пассажирских или товарных поездах, в скорые - меня не пускали. Но двести километров я проехал роскошно: развалившись с двумя товарищами в шикарной машине, поставленной на платформу товарного вагона. Начинался новый этап.

Зеленая плесень

...не умер, не сошел с ума ...

Странная школа. - Поездка в волчью пасть. - Встреча. - Лишения и угрозы. - От моря в горы. - Спасительная хижина. - Опасный экзамен

Где был я в сентябре 1940 года - гибельном месяце и годе для страны [хотя и не для некоторых (многих?) **умников**]?

Мне было двадцать пять лет. После десятилетнего русского детства, которое навсегда оставило свой след во мне и которое казалось счастливейшим периодом моей жизни, следующие **пятна-**

дцать лет я прожил во Франции. За плечами был год начальной школы и шесть лет среднего образования, в общем блестящих (если не считать некоторого разочарования в последнем классе). Затем, после года, потраченного на неудачную попытку стать врачом, три года успешных (хотя, **по-моему**, слишком медленных) занятий в университете до лиценциата, а потом три года **одинокого** "хождения по мукам" в поисках науки - три года, которые, как показало будущее, оказались не совсем бесплодными. **Наконец**, год **"под оружием"**, когда я выучил уйму совсем ненужных вещей, но когда, общаясь с людьми, подобных которым я **никогда** не встречал, - батраками, мясниками, кадровыми офицерами и др., - я расширил свой кругозор и возмужал. Год, в течение которого я не видел ни одного немца (это было еще впереди), не слышал ни свиста неприятельской пули, ни взрыва вражеского снаряда, год, когда с артиллерийским училищем я **"прокатился"** на велосипеде от Фонтенбло до Сен-Сира и прокатился достаточно быстро, чтобы не попасть в плен (а это тоже **чего-то стоило**). Да, еще чуть не забыл, у меня был опыт общения с тапирами. Но не об этом я тогда размышлял. "Primum vivere, postea **philosophare**" ("Сначала жить, а потом философствовать"), говорили древние.

Скоро должен был быть обнародован так называемый "устав **евреев**", который сделал из меня неполноценного гражданина, **постоянно** находящегося в страхе превратиться в добычу для носителей коричневой чумы и их трехцветных лакеев. В некотором отношении я имел преимущество по сравнению с подобными мне, которые прежде занимали государственную должность. Не имея таковой, я не испытал моральной травмы от ее потери. Но, не имея должности, я вынужден был искать работу. В этом отношении были и благоприятные обстоятельства.

С установлением "демаркационной **линии**", которая разрезала Францию пополам, немалое число зажиточных граждан, и не **только** евреев, решили переждать исход событий ("Wait and see", как говорят наши англосакские друзья) в южной зоне, куда они приехали с семьями, спасаясь от немцев. Где лучше всего переждать, как не на Ривьере (если есть деньги, конечно)? Их детям, среди которых процент "ослов" был выше среднего, нужны были учителя. И много лет "ослы" были моими самыми верными тапирами. Отвечая спросу пришельцев, по всей Ривьере расцвели частные заведения под руководством личностей более или менее компетентных и более или менее щепетильных. Для этих новых школьных директоров "статус евреев" был Божиим Даром. Где найти рабочую силу, более дешевую, более покладистую и к тому же более квалифицированную, чем все эти евреи с дипломами, ищущие работу!

По приезде в Канны я встретился с Норой, двоюродной сестрой моего зятя. Нора была **красивой**, живой, белокурой девушкой (золотистость ее шевелюры немного была обязана искусству) и не проходила по улице незамеченной. (В 1943 году она была арестована гестапо при обстоятельствах, о которых я мало знаю. Ее несчастный отец пошел в штаб гестапо просить об ее освобождении, и его, конечно, задержали тоже. Ее сослали в Равенсбрюк, где она выжила, а вот отец ее не вернулся.) Она преподавала в Сен-Рафаэле (Saint-Raphael), в курортном местечке в пятидесяти километрах от **Каннов**, в **коллеже**, т.е. школе, директором которой был некий господин Робэн. Ему нужен был учитель латинского языка, и Нора рекомендовала меня.

Лет через десять после этих событий я прочел книги английского писателя Ивлина Во (Evelyn Waugh) гениального юмориста (но отвратительного человека). В своей первой книге **"Упадок и падение"** ("**Decline and Fall**") он описывает с юмором частную школу "Замок Ланаба" (Llanabba Castle), куда попадает учителем оксфордский студент, несправедливо исключенный из университета за "неприличное поведение". Я тоже пострадал, если не за "неприличное поведение", то за "неприличное **естество**". Если бы у меня была хоть четверть половины таланта Во, я тоже написал бы очень смешно про коллеж Сен-Рафаэля. Не буду стараться смешить, этим я все испорчу, и удовольствуюсь точным описанием, ничего не выдумывая.

Я приехал в Сен-Рафаэль к шести часам вечера и сразу отправился в коллеж, большую виллу, где **"принципал"**, как он себя называл, принял меня очень любезно в своем кабинете. Господин Робэн был высок и худ, лет **тридцати**, с длинными волосами, **вы**ходящими на шее, и с выделяющимся адамовым яблоком. Он был одет в бежевые брюки и голубую рубашку без галстука, широко открытую на груди. Его внешность не совсем соответствовала **мо**ему представлению об облике принципала коллежа, даже частного, даже на Ривьере. На самом деле, я никогда не встречал никого похожего на него ни в штатской **жизни**, ни в казарме.

Я спросил, преподавал ли он сам какой-нибудь предмет? **"Географию"**, - неохотно ответил он и, к моему удивлению, моими дипломами не поинтересовался. "Наверное, Нора ему рассказала", - подумал я. Он кратко сообщил мне об условиях моей работы: 800 франков в месяц на всем готовом, т.е. завтрак и обед в коллеже и комната в пансионе "Мирты" ("**Les Myrtes**") недалеко от коллежа. Я должен был преподавать латынь во всех классах и по очереди с другими учителями надзирать за вечерними занятиями. Я был еще слишком ошеломлен возвращением к штатской жизни с ее шаткостью, чтобы оспаривать условия моей

службы или требовать добавочных подробностей о моих **обязанно**стях. Подробностей, которые мой собеседник, очевидно, был не расположен или не способен сообщить.

Закончив наш краткий деловой разговор, господин Робэн включил элегантный радиоприемник, из которого полились звуки вальса, и спросил меня, люблю ли я музыку и есть ли у меня чувство ритма. Я не успел ответить, так как в кабинет вошел коренастый брюнет в **темно-синем** свитере и матросских брюках того же цвета. У него были густейшие брови, какие я когда-либо видел, простиравшиеся от виска до виска. "Наш эконоом, господин Морис", - сказал господин Робэн, очевидно не считая нужным довершить представление. Я, несомненно, не ожидал того, что последовало. Эконом взял принципала за талию, и они закружились под звуки вальса "как вихорь жизни **молодой**". "Неплохо для начала", - подумал я. После нескольких туров и моего вежливого отказа **провальсировать** с кем-либо из них в кабинет вошла старушка, которую принципал представил как свою тетку, маркизу ... (**фамилию** я забыл). Как выяснилось позже, она-то и была экономом, а господин Морис - только поваром. Маркиза... **объявила**, что ужин готов. Мы прошли в столовую, где кроме нас четверых был еще мальчик, внук **маркизы**..., которого господин Робэн тщетно приглашал сесть к нему на колени. Ужин тоже был незабываем. Я был готов к ограничениям в питании, связанным с бедствиями нашей страны, но этот первый прием пищи - тыквенный суп, запеканка из тыквы и тыквенное варенье - не вызвал у меня восторга особенно потому, что я ненавижу тыкву во всех ее видах. Много позже, когда я обнаружил, что американцы с наслаждением едят тыквенные **пироги**, это заставило меня усомниться, что они цивилизованная нация. Господин Робэн, очевидно, разделял мои вкусы насчет **тыквы**, потому что ему подавали в глиняных горшочках разные анонимные (и вряд ли тыквенные) блюда. После ужина я попрощался с хозяевами и отправился разыскивать свое новое жилище. Пансион "**Мирты**" оказался весьма приятной, объемистой постройкой недалеко от пляжа. Хозяева приняли меня любезно и показали мне мою малосенькую, но чистенькую комнатку.

На следующее утро я явился в коллеж, где встретился с коллегами. Старейшим был учитель истории, господин **.Бетлен** (Беттельгейм для близких, в которые он сделал честь зачислить меня через пару недель), ему было за шестьдесят. Он не нуждался в жаловании, но предпочитал иметь законный заработок, хотя бы малый. Мне он симпатизировал, правильно полагая, что мы с ним были единственными **мало-мальски** профессиональными учителями в учреждении господина Робэна. Однажды он доверительно **спро**

сил меня: "Не кажутся ли вам странными эти учителя, которые обогнали своих учеников всего на один **урок?**"

Насколько я помню, Нора преподавала французскую словесность, но много разъезжала и часто отсутствовала. Главным учителем была, или, по крайней мере, считала себя таковой, мадемуазель Рубинштейн. (Настоящая ее фамилия тоже принадлежала знаменитому пианисту.) Она преподавала физику и математику с большим усердием, но с небольшим знанием предмета, и заменяла Нору, когда та отсутствовала.

Мадемуазель Рубинштейн была необыкновенно ...нехороша собой. У нее были рыжие волосы, белесое веснушчатое лицо и бесцветные глаза навывкате. О фигуре ее лучше всего говорит один случай, о котором она сама нам рассказывала: учтивый господин уступил ей свое место в автобусе, прибавив: **"В** вашем положении не хорошо **стоять"**. - "В каком это положении?" - с негодованием спросила мадемуазель Рубинштейн. В добавление ко всему она была безнадежно влюблена в г. Робэна. (Во истину безнадежно: даже если бы влюбленной оказалась красивая Нора, то и она не могла бы рассчитывать на взаимность.) Несмотря на все это, она была добрейшим человеком, всегда готовым оказать услугу, пока ничего не говорилось против Робэна (она ему все доносила).

Молодая швейцарская барышня, мадемуазель Фогели, занималась маленькими. Она рисовала очень забавные карикатуры на принципала, танцующего с экономом. Но, к сожалению, она скоро уехала в свою родную Швейцарию (в которую я тоже был бы непрочь **уехать**).

Был еще "дворецкий", как его называл Робэн, на самом **деле** уборщик и помощник Мориса на кухне. Звали его **Клеман** (Clement), но я скоро обнаружил, что он был русским эмигрантом и что его настоящее имя Клим. Он почти разучился **говорить по-русски**, но кое в чем знал язык лучше меня: я никогда не слышал то невероятно грубое слово, которое он употребил, чтобы описать развлечения принципала с экономом. Он был **довольно** таинственной и слегка зловещей личностью (как и **Фильбрик**, дворецкий в книге Во) и скоро куда-то исчез. Был еще учитель гимнастики, вечно голодный бедолага, который тоже скоро исчез. Робэн предложил мне заменить его, и я согласился по два часа в неделю за лишний ломтик мяса, когда оно бывало, и ежедневную порцию макарон. Я предпочел бы картошку, но на юге она была редкостью.

С учениками я ладил прекрасно. Мои знания намного превышали их скромные потребности, а авторитет и опыт командования, который я приобрел в армии, им импонировали, и они никогда не

позволяли себе шуметь у меня в классе, как у Бетлена или у мадемуазель Рубинштейн. Через пару недель произошло неизбежное: мадемуазель Рубинштейн захворала, и я заменил ее по физике и математике на несколько дней. Когда она вернулась, ученики категорически отказались заниматься с ней и потребовали меня в преподаватели. Робэн, которому давно надоело ее обожание, захотел воспользоваться этим, чтобы избавиться от нее, но вместе с Норой и Бетленом мы выступили в ее защиту.

Через месяц появились новые ученики, и родители старших из них потребовали уроков греческого. Робэн пытался политикой "кнута и пряника" уговорить меня преподавать греческий ("Вы же все знаете, что вам стоит дать несколько уроков"), но, как читатель прекрасно знает, у меня были свои причины, чтобы отказаться. Я предложил ему в замену выписать компетентного учителя из Парижа, бывшего поклонника Норы, некоего Ришара, который в свое время проходил греческий в лицее. Нора ему написала, и неделю спустя он приехал из северной зоны (а *как* он приехал, я скоро расскажу). Услышав, что Ришар сдал Бак по философии, предприимчивый Робэн решил предложить старшим ученикам уроки и по философии. Покладистый Ришар согласился на тех же условиях, что и я с гимнастикой.

Я преподавал у Робэна три месяца, до Рождества 1940 года. Самым трудным было добиться уплаты жалованья. Лучшим приемом было ворваться под каким-нибудь предлогом в его кабинет в тот момент, когда с ним расплачивалась мать ученика. Не имеющий возможности отговориться нехваткой денег и опасющийся скандала при своем клиенте, он вынужден был рассчитаться.

Во время рождественских каникул я решил перейти демаркационную линию и повидать родителей в Круаси. Перед тем как рассказать об этой поездке, я хочу кратко описать свой разрыв с Робэном после возвращения в январе 1941 года. Той зимой произошло редчайшее на Ривьере явление - снежный буран, **ко-**торый полностью остановил железнодорожное движение. Я чуть не замерз в дороге на обратном пути и опоздал на три дня. Робэн пришел в бешенство и захотел вычесть оплату их из моего жалованья. Он не знал, что мне давно "делал глазки" (в чисто деловом смысле, с Робэном он на этой почве ничего общего не имел) его конкурент господин Птижан (Petitjean), у которого тоже был свой коллеж в Сен-Рафаэле. Я был в восторге от предлога, который мне невольно дал сам Робэн, чтобы расстаться с ним.

Ришар познакомил меня со своим маршрутом из северной зоны в южную, и я выбрал ту же дорогу в обратном направлении поездом до города Лош (Loches), южнее "линии" километров на двадцать, и снова поездом от города Тур (Tours), севернее "линии"

на столько же. Оставался щекотливый промежуток от Лоша до Тура через демаркационную линию. Потолкавшись в кафе около станции Лош, я узнал, что был шофер, который за несколько франков мог подбросить желающих на своем грузовичке на два-три километра, не доезжая до **"линии"**, которую надо было пересечь пешком через поля. На той стороне находился его товарищ, который довозил до Тура.

Я опасался автомобильных проездов больше, чем пешего перехода самой **"линии"**; за последнее время я приобрел достаточный опыт, чтобы полагать, что тот или другой из наших шоферов охотно выдаст немцам своих пассажиров, если увидит в этом выгоду. Однако все обошлось благополучно, и я прибыл в Париж. Было уже темно, и я переночевал у тети Раисы, сестры отца. (Ее муж и двое детей погибли в нацистских лагерях; уцелевшая старшая дочь сошла с ума после войны. Точно так же погибли жена и одна из дочерей дяди Давида.)

На следующее утро я отправился в Круаси на электричке с вокзала Сен-Лазар. Париж, как и следовало ожидать, кишел немецкими солдатами и машинами. Более всего я был поражен темнотой в десять часов утра - Париж жил по часовому поясу Берлина.

Мои родители были одновременно удивлены и рады видеть меня. Но мама страшно беспокоилась за меня и, накормив, хотела тут же отослать обратно. Отец, вечный оптимист, поднял ее на смех и уговорил приютить меня на три дня. Отец был **"старым волком"**, и ограничения и лишения, которые нагрянули на парижан с осени 1940 года, не застали его врасплох. Когда он приехал к нам в 1936 году, мы посмеивались над его пристрастием ко всякому старью; он никогда ничего не выбрасывал: веревки, бутылки, коробки от консервов, куски картона и Бог **знает**, что еще, собирали и складывали на **"черный день"**. Когда все исчезло сразу, эти нелепые запасы стали предметами первой **необходимости**. Излишне говорить, что именно по его настоянию родители заблаговременно заготовили запасы провизии: макарон, постного масла, сардин, сгущенного молока, овсяной крупы и т.д. и жили почти полностью своим **"натуральным хозяйством"**. Еще в начале войны, когда угля и нефти было сколько угодно, отец закупил запас **дров**, которыми заложил наш гараж (машины у нас никогда не было), и, кроме того, возвращаясь из прогулок в лес, всегда притаскивал с собой охапку хвороста. В **гостиной**, где они теперь спали, он поставил **"буржуйку"** и на стыках трубы, которая проходила через всю комнату, привесил консервные банки, куда капала смола; он воссоздал атмосферу, в которой жил и выжил в последние годы в России.

Я предложил переехать им в южную зону, но отец и слышать об этом не хотел и со своей точки зрения был прав. У него был непросроченный советский паспорт, и, пока Гитлер и Сталин дружили, это было лучшей защитой. С его точки зрения он был в большей безопасности, чем его брат и сестра, несмотря на их долговременное французское гражданство. Ему было простительно не **предвидеть**, что 22 июня 1941 года Гитлер нападет на СССР;

в конце концов Сталин, у которого были более обширные источники информации, тоже этого не предвидел. Однако на следующий день за ним пришли немцы и отвезли его в лагерь в **Компьень (Compiègne)**, где мама смогла навестить его два раза, а оттуда в Германию, откуда новостей больше не было. В 1944 году открытка немецких властей уведомила нас, что он умер в 1943 году в лагере, название которого я забыл. Во всяком случае, это был не один из немецких лагерей уничтожения, как Освенцим, а концентрационный лагерь для граждан **враждебной страны**. Я это знаю достоверно, потому что после войны я виделся с человеком, который сидел с ним в лагере. В отличие от многочисленных членов своей семьи, мой бедный отец умер **"естественной"** смертью, т.е. от холода и лишений, - как в заурядном сталинском лагере, а не в газовой камере. Ему было семьдесят лет.

После этого отступления я возвращусь к январю 1941 года. На обратном пути я захватил с собой велосипед, который отправил багажом от Парижа до Тура и проехал на нем от Тура до Лоша, не пользуясь наемными услугами. В моей жизни произошло тогда чудесное событие. Я встретился с Сюзан Лекем (Suzanne Lequesme), которая мне сразу очень понравилась. У нее были зеленые глаза, большой смеющийся рот, чудесные зубы, а цвет лица ее был воистину **"кровь с молоком"**, несмотря на то, что здоровье ее было тогда далеко не прекрасным. Она только начала поправляться после тяжелого суставного ревматизма, который продержал ее в постели несколько недель и оставил последствия на всю жизнь.

Я заметил ее в гостинице пансиона **"Мирты"**, где она сидела в кресле рядом с двумя старушенциями и вязала им чулки, за несколько дней до своего отъезда в оккупированную зону и решил непременно познакомиться с ней поближе, когда вернусь. После того как она захворала, люди, с которыми она приехала из Парижа, уехали обратно, оставив ее на попечении хозяев пансиона. Хозяева ухаживали за ней хорошо, если не считать упорных попыток обратить ее в свою веру, которую они проповедовали с большим усердием. В чем эта вера **закключалась**, я затрудняюсь сказать; это была какая-то разновидность **безпоповщины**, которая для Сюзан, воспитанной в католической религии, **была**

неприемлема. (Со временем католическая вера ее тоже растаяла.) Она сказала мне, что собиралась вернуться в **Париж**, как только встанет на ноги. Сюзан была из крестьянской семьи, провела свое детство и отрочество на **ферме**, в земледельческой провинции **Сапта (Sarthe)**, около Бретани, и сохранила свой деревенский выговор. В отличие от мамыши Татьяны, она "**французский р**", совсем как русский, произносила не **картавя**", что меня тоже восхищало. (Впоследствии люди, с которыми мы встречались, иногда говорили мне: "Невозможно поверить, что вы родились в России; у вас совсем нет акцента. Вот ваша жена - другое дело, сразу видно, что она **русская**".) Мне понадобилось довольно много времени, чтобы понравиться ей, но можно считать, что это мне удалось, так как она отказалась от возвращения в Париж, чтобы остаться со мной, несмотря на мое более чем незавидное положение частного учителя и, что было тогда самое последнее дело, еврея. Она прекрасно готовила и, когда встала на ноги, в ожидании лучших дней приняла предложение хозяев править твердой рукой кухней пансиона "Мирты".

Было не время привлекать внимание властей, и мы повенчались только в октябре 1944 года во время отпуска, так как, "неизлечимый **милитарист**", я снова поступил в армию. Как говорится в сказках (хотя не совсем так), они зажили припеваючи и детей у них не было. Прибавлю еще, что трудно было быть более разными, чем мы с ней, и что в этом, может быть, заключается секрет нашего "сердечного согласия" по сей день. Я заканчиваю здесь эту главу моей жизни, начатую почти пятьдесят лет тому назад, которая все еще длится.

Коллеж Птижана, где я теперь упражнял свои таланты, не имел красочности робэновского. Все мои бывшие коллеги - Нора, Ришар, Бетлен, мадемуазель Рубинштейн - исчезли куда-то один за другим, как и сам Робэн, выманив у родителей плату за три месяца вперед. Время было неустойчивое, и люди исчезали, не вызывая удивления у окружающих.

После ареста отца в июне 1941 года моя сестра поехала в Круаси за мамой и, не без риска, привезла ее к нам в Сен-Рафаэль. (Сестре с мужем удалось после этого уехать в Америку через Португалию одним из последних пароходов, которые еще ходили.) Мы прожили в пансионе "Мирты" несколько месяцев, а в конце 1941 года поселились в маленькой квартирке. Подсчитав хорошенько, я пришел к заключению, что благодаря моей учительской репутации в Сен-Рафаэле будет выгоднее и спокойнее оставить коллеж Птижана и жить частными уроками. Так я и сделал.

Как я сказал раньше, большинство моих тапиров были "ослами". Однажды, готовя одного из них по программе Мат Элем, т.е. на *вторую* часть Бака, я не вытерпел и сказал ему, что я не могу понять, каким образом он ухитрился выдержать экзамен на *первую* часть. "Да очень просто", - ответил он чистосердечно, - "**я** учился в Ренне (Rennes - крупный город в Бретани), когда подошли немцы и нас всех после письменного экзамена перевели наскоро в Тулузу. Там, после заявления под присягой, что я выдержал письменный, меня освободили от устного". К счастью, не все были такими. Моим лучшим учеником был Альфред Гроссер (Alfred Grosser), который стал впоследствии крупным социологом и германистом. Ему теперь за шестьдесят, и он часто выступает в диспутах на телевидении. Никто не верит, что я когда-то обучал его латыни.

Во все годы в Сен-Рафаэле у нашей тройки - мамы, Сюзан и меня - были три заботы: разгром немцев, хлеб насущный и, по крайней мере для мамы и меня, опасность потерять **свободу**. Худшего, чем потеря свободы, мы с мамой не могли себе представить - никто еще не подозревал, на какие зверства **способны** нацисты. Как все, мы слушали, несмотря на глушение, каждый вечер Би-би-си, улавливая новости о войне с ее **маленькими** радостями и большими разочарованиями. Победа английских летчиков над Ла-Маншем дала нам первый повод для надежды. Мы легко ловили советские передачи, которые были на русском языке и редко глушились. Здесь тоже мы постоянно переходили от надежды к отчаянию и обратно. Те, кто сейчас во Франции удивляются ослеплению столь многих после войны режимом Сталина и пристрастию к нему, забыли те годы, когда вся надежда была сосредоточена на Востоке.

В отличие от большинства моих соотечественников (в чем **теперь** нас нахально стараются уверить) я не принимал активного участия в Соппротивлении. Моим единственным усилием в этом направлении была одна бесплодная попытка в ноябре 1942 года. Немцы только что перешли демаркационную линию и заняли всю Францию за исключением военного порта Тулона на Средиземном море. Там стоял под парами французский военный флот, и угроза его ухода к союзникам удерживала немцев вне Тулона. Все патриоты, и я в том числе, надеялись, что флот уйдет к союзникам. Я мечтал попасть на военный корабль и уплыть на нем, чтобы воевать с немцами. Распрошавшись с мамой и Сюзан, я поехал в Тулон, где провел две ночи и один день, бродя по пирсам, "маня ветрила кораблей" и неоднократно рискуя быть арестованным полицией "**Виши**". Наконец я убедился, что флот не двинется с места, и вернулся в Сен-Рафаэль ужасно разочарованным (но в то

же время с примесью подленького чувства облегчения). Два дня спустя адмирал отдал позорный приказ отправить флот на дно.

Проблема хлеба насущного была в Сен-Рафаэле острее, чем в других местах. Несмотря на привлекательность его для туристов, с точки зрения земледелия окрестности Сен-Рафаэля бесплодны. Крестьяне, которые в других местах продавали или обменивали свои продукты, здесь просто не существовали. Единственным источником продовольствия являлись **"распределители"**, т.е. мелкие лавочники, которые продавали продукты по карточкам (или без карточек по тройной цене), и муниципальные служащие, которые торговали карточками. Кроме возможности платить требовались полезные знакомства с нужными людьми, что, в свою очередь, требовало терпения и смирения. Я думаю, не слишком удивлю советского читателя подобными рассказами, но во Франции мы были совершенно не подготовлены к этому, и теперь, когда уже много лет как вернулось изобилие, новые поколения об этом снова не имеют представления. Теперь у нас принято жалеть мелких лавочников, которых конкуренция громадных супермаркетов приводит к банкротству, но не стоит забывать, и я лично не забыл, что те времена **"плесени"** для них были не только порой скорого обогащения, но и респектабельности и власти. Понятия "номенклатура" у нас не было, но суть его была.

Я случайно с радостью открыл, что по моей карточке полагалось на пятьдесят граммов хлеба больше, чем простым смертным, так как при демобилизации, заполняя бланк для получения карточек, я записал свою профессию как "учитель физики", а чиновник, который выдавал карточки, очевидно, решил, что это то же самое, что **"учитель физкультуры"**. Им-то и полагались эти лишние 50 граммов. Мне повезло. На самом деле я хотел написать "учитель физики и математики", но на бланке, к **счастью**, не хватило места. Но, несмотря на эти пятьдесят граммов, я вынужден был прекратить морские купания, которые очень любил, так как они обостряли мой аппетит. Никогда не забуду день, когда я впал в страшное уныние от голода. Сюзан исчезла из комнаты и вернулась через несколько минут с глиняным горшочком, наполненным до краев фасолью, залитой оливковым маслом, которое она не колебалась украсть для меня в кладовой хозяина пансиона. У меня выступили слезы на глазах, потому что я прекрасно знал, чего ей стоил этот поступок.

До сентября 1943 года Сен-Рафаэль был оккупирован итальянскими войсками. Они были человечны и иногда даже обуздывали усердие властей **"Виши"**. Тем не менее начиная с лета 1942 года эти власти предписали всем французским подданным еврейского происхождения "для своей пользы" зарегистрироваться в полицей-

ском участке по месту жительства. Туманные угрозы возмездия висели над нарушителями. Знакомые, уроженцы Франции еврейского происхождения, уговаривали меня последовать их примеру и зарегистрироваться во избежание неприятностей. Но мне казалось, что быть записанным "евреем" в полицейском участке - это уже начало неприятностей, и я воздержался. Впоследствии оказалось, что я был прав.

Мама числилась русской беженкой и, конечно, тоже нигде не записалась. Через несколько дней после ареста отца в **оккупированной** зоне ее вызвали в немецкую комендатуру, чтобы узнать, почему она не зарегистрировалась как еврейка. Не смутившись, она ответила, что она русская, православная и что у нее нет оснований записываться еврейкой. "Но вы замужем за евреем", - сказал немец. **"Это случается и в лучших семействах"** (**"Es kommt in besten Familien vor"**), - ответила мама. Ответ удовлетворил немцев, по крайней мере на время. Она не стала ждать, пока они передумают, и перебралась в южную зону, о чем я уже рассказывал.

С уходом итальянцев и приходом немцев положение в Сен-Рафаэле ухудшилось. Рядом с немцами появились отряды так называемой милиции (Milice), французских сообщников немцев, пожалуй более опасных, чем их немецкие хозяева, если не считать эсэсовских офицеров, порой кейфовавших на террасах лучших отелей Сен-Рафаэля. Несколько евреев исчезли бесследно. У выхода из кинотеатров устраивались полицейские облавы, где кроме евреев охотились за молодыми людьми вообще. Те, кто не мог доказать, что занимается "полезным" трудом, считались тунеядцами и отсылались в Германию для работы на заводах. Это называлось СОТ (Служба обязательного труда); не надо смешивать СОТ с немецкими концентрационными лагерями. С молодыми французами (конечно, за исключением евреев) в СОТ обращались не хуже и не лучше, чем с немецкими рабочими, которые трудились рядом с ними. Именно со времени создания СОТ начался уход части французской молодежи в так называемые маки (maquis - лесная чаща; так называли французских партизан) или лагеря, находящиеся, главным образом, в горах. Вначале маки были прежде всего возможностью избежать СОТ, но после высадки союзников многие из них приняли активное участие в борьбе с немецкими войсками.

Осенью 1943 года я нашел, что достаточно примелькался в Сен-Рафаэле и что не плохо было бы переменить обстановку. Итак, в сентябре 1943 года я отправился в Гренобль, прекрасный университетский город у подножия Альп, где у меня были хорошие друзья - чета **Гликманов** (он - инженер, она - врач, и двое их сыновей, 15 и 17 лет). Я пообедал в **вагоне-ресторане**, где мой

"визави", на которого я, очевидно, произвел хорошее впечатление, поделился со мной информацией, источником которой будто бы являлся его хороший знакомый, важный полицейский чиновник. **"Всех** этих евреев (он употребил другое слово), которые валяются на пляжах Ривьеры и чувствуют себя, как **"у Христа за пазухой"**, скоро заберут и рассадят по лагерям. Вполне возможно, что облава начнется сегодня ночью." **"Я** знаю одного, который от вас **уйдет"**, - подумал я, расставаясь со своим **"симпатичным"** собеседником. Он был прав, и несколько несчастных, которые зарегистрировались в Сен-Рафаэле, исчезли в ту ночь.

Прибыв в Гренобль в 5 часов **вечера**, я узнал, что там введен комендантский час с 16 часов. Ночь я провел на вокзале, и вряд ли самую комфортабельную и веселую в своей жизни, тем более, что за три года я привык к теплему климату Сен-Рафаэля, и ночь на вокзале показалась мне очень *прохладной*. На следующий день, грязный и измученный, я предстал пред светлые очи своих друзей, несколько не удивившихся моей внешности. Их дом был приютом, где все время появлялись люди, ищущие новой обстановки, жилья, а иногда и документов. У знакомого бакалейщика они нашли мне комнату с входом со двора, длинную, узкую и темноватую, с железной печкой, для которой добрый Гликман раздобыл несколько мешков качественного кокса. Здесь я прожил припеваючи до января 1944 года. В одну из ночей я разделил там свою постель со старым товарищем, математиком Лораном Шварцем, у которого были свои причины, чтобы не ночевать в гостинице. Он щедро заплатил мне за гостеприимство объяснениями по теории функций, которой я тогда интересовался.

Шварц - теперь один из крупнейших французских математиков. За свое открытие теории распределений он был награжден медалью **Филдса** (Fields). Для математиков это равноценно **Нобелевской** премии, в которой им отказал в свое время ревнивый господин Нобель. Мы теперь с ним нередко встречаемся, особенно с тех пор, как оба стали академиками. Мое отношение к нему - смесь восхищения и раздражения.

Меня восхищает его математическое дарование, которое обнаружилось в шестнадцать лет в Мат Элем (что для математиков, как и для великих музыкантов, довольно поздно; хотя могу ли я сам говорить о *позднем* проявлении **таланта!**). Меня восхищает его храбрость, как физическая, так и духовная, которую он выказал, занимая позиции, физически опасные (выступление **против** колониальной войны в Алжире привело к попытке взорвать его квартиру) или морально ему неприятные (выступление **против** требований учительских профсоюзов, политически близких к **нему**).

Меня раздражает незыблемость его убеждений (пока он сам их не **"зыбнет"**), хотя на старости лет он стал немного более **"зыблемый"** (ссылаюсь здесь на авторитет словаря Н. П. Макарова, одобренного Императорской академией наук). Больше всего меня раздражала его поддержка студенческих беспорядков 1968 года, где, я должен признать, он был в хорошей компании **Нобелевских** лауреатов - Альфреда **Кастлера** (Alfred Kastler), Жака Моно (**Jacgues** Monod) и Жан-Поля Сартра (Jean-Paul Sartre) тутти кванти⁸, но без меня. Я вернусь еще к истории этих беспорядков, а пока возвращусь в Гренобль осени 1943 года.

Я скоро с радостью обнаружил, что расстояние между **Греноблем** и Сен-Рафаэлем гораздо больше, чем указано на карте: в Сен-Рафаэле немцы были просто немцами и "вели себя корректно", в Гренобле они были "дорифорами" (дорифор - это зеленый жук, пожирающий картошку, т.е. вредитель) и были врагами. В десяти километрах от Сен-Рафаэля стоит виадук, через который проходило тогда все железнодорожное движение к Италии и который союзные бомбардировщики пытались несколько раз **разрушить**, но безуспешно. В Гренобле Сопротивление давно бы взорвало такой виадук, там каждый день были взрывы на предприятиях, работающих на немцев. В Сен-Рафаэле безоружные немецкие солдаты беспечно прогуливались в **одиночку**, в Гренобле они появлялись только вооруженными группами. Это были две разные страны, почти две разные планеты. Если прибавить, что в Гренобле голодали меньше, чем в Сен-Рафаэле, станет понятным, почему я чувствовал себя здесь гораздо лучше, несмотря на острое ощущение постоянной опасности.

Я посетил Факультет наук (моя нога уже более трех лет не ступала в **университете**), где познакомился с деканом, математиком Рене Госсом (**René Gosse**), милейшим человеком (а два дня спустя с ужасом узнал, что его убили мерзавцы из милиции). И записался на курс высшего анализа. Этот курс состоял из лекций Брело (**Brelot**) по общей топологии по Бурбаки (**Bourbaki**) и Лелона (**Lelong**) по интегральным уравнениям. Из них двоих Лелон был лучшим преподавателем, но его лекции, хотя очень понятные, содержали мало нового для меня. В то время как в Бурбаки мне "открылся мир **иной**". Я никогда с такой математикой еще не встречался, и она мне нравилась.

Я познакомился с юным математиком Самюэлем (Samuel), **который**, несмотря на свою молодость, служил ассистентом профессора Брело и буквально очаровывал меня ясностью и сжатостью своих выводов. "Если этот парень выживет, то далеко пойдет",- думал

⁸Tutti quanti (итал.) - все, сколько есть. - Примеч. ред.



я. Эту оговорку "если **выживет**" я применял в те дни ко многим из тех, с кем встречался, включая самого себя.

Самюэль выжил, он сегодня профессор Парижского университета, и пусть математики определяют, **"как далеко он пошел"**. Но я знаю, что по отношению к атомной энергии, и я **повторю** это сегодня, после Чернобыля, он занял позицию, которую я лично нахожу в высшей степени неразумной. Кстати, я хотел бы обратить внимание математиков, которые охотно валят на голову физиков все смертные грехи за создание атомного оружия, что самыми великими "убийцами" (как они выражаются) явились математики Джон фон Нейман (John von Neuman) и Станислав Улам (Stanislaw Ulam) и что даже сегодня, в иерархии "массового разрушения", математики стоят на первом месте. (Разговаривая со Шварцем, конечно, знакомым с математическими трудами Улама, я обнаружил, что он и понятия не имел о его роли в создании водородной бомбы.)

В своей автобиографии Улам объясняет, что математики, компрометирующие себя работами по заказам военных, делали это исключительно для финансовой поддержки своих работ по чистой математике, и что сама прикладная работа на своих заказчиков нисколько их не интересует, что заказчики прекрасно понимают. И поясняет это следующим анекдотом. Еврей, задолжавший синагоге, тщетно пытается проникнуть туда мимо служки, который стоит у входа. "Я только на **минуту**", - говорит он, - "внутри человек, который мне должен". "Ты обманщик", - отвечает служка, - "как будто бы я не знаю, что на самом деле ты хочешь пролезть внутрь, чтобы помолиться".

Тем временем положение в Гренобле становилось все более опасным, и мы решили (с Гликманами), что не мешало бы "подняться на воздушный шар", иными **словами**, перебраться куда-нибудь в горы, подальше от немцев. Мы выбрали деревушку у подножия горного массива Сет-Ло (Sept-Laux, т.е. Sept-Lacs, что означает семь озер). Название деревушки было Фон-де-Франс (Fond de France - буквально "дно Франции", потому что там кончалась долина, упиравшаяся в подножие гор). Там была гостиница, где в мирное время альпинисты проводили день **или** два перед **походом** в горы. Мы решили пробыть в ней несколько дней до того, как найдем постоянное убежище. Там же находились несколько молодых людей, парней и девушек, большинство из которых были членами Сопротивления или претендовали *считаться* ими. Их деятельность показалась мне не очень серьезной, за исключением двух из них, которые занимались торговлей мясом на "черном" рынке.

Я уже начинал сомневаться, не благородней ли и, кстати, не дешевле ли примкнуть к одному из ближайших маки, когда **получил** письмо от **Сюзан**. Она сообщала, что немцы очищают Сен-Рафаэль от экономически бесполезных жителей и собираются их с мамой выселить в **какую-то** дыру подальше от моря. Я тут же написал, чтобы они приезжали. Они прибыли через несколько дней, измученные поездкой, но счастливые быть со мной. Оставаться втроем в гостинице не имело смысла, и я отыскал домик в **той же долине**, но слегка пониже, в деревне Ла Феррьер (La Ferrière). Дом был велик для нас троих, и мы его разделили с семьей некоего Полонского, которого все звали Поло, коллегой Гликмана по службе.

У Полонских были две дочки, умненькие девочки, четырех и двух лет. Жизнь с Полонскими не представляла особых проблем, кроме досадной привычки мадам Поло (ученого биолога) оставлять на огне молоко для своих детей, пока оно не убежит, с обычным комментарием: **"Из-за этого я с собой не покончу"**. Можно было простить ей эту маленькую слабость, тем более, что она была умным и прямым человеком, чего я бы не сказал про **себя** мужа. Он продолжал работать в Гренобле и приезжал на **"уикенды"**.

Мы прожили в Ла Феррьер четыре месяца мирно, но беспокойно. Немцы уже показывались в долине, хотя до сих пор не выше **Альвара (Allevard)**, городка километров на десять ниже Ла Феррьер. Кроме Поло и меня, других евреев в Ла Феррьер не было, и, хотя он появлялся каждое воскресенье со старшей дочерью на обедне в церкви (жена его отказалась принимать участие в этом маскараде), сомневаюсь, что этим он ввел **кого-нибудь** в заблуждение.

Работая в полях с крестьянами, которым принадлежал наш дом, я познал радости земледелия в горах. Они выращивали картошку на крутом склоне, и каждый год надо было на своей спине таскать, с нижней борозды на верхнюю, весь чернозем, соскользящий вниз за год. Для их мула это было слишком круто. Даже Сюзан, выросшая на ферме и привыкшая к тяжелой работе в полях, ничего подобного не видала. Остальное время я занимался Курантом и Гильбертом и Бурбаки. Красота Бурбаки в том, что в отличие от традиционной математики можно проделывать все упражнения в уме, не нуждаясь в переплетке и бумаге, что я и делал с большим удовольствием, прогуливаясь в горах. Но в начале июня 1944 года **что-то** произошло.

Однажды утром (это было в воскресенье, и я был еще в **постели**) я услышал отчаянный крик мамы: "Толя, **немцы!**". Я подскочил к окну и **увидел**, что улица, на которую оно выходило, была заполнена немецкими солдатами. Я начал торопливо **оде-**

ваться, к великому удивлению Сюзан, которая не понимала, что **происходит**, потому что мама крикнула **по-русски** и я не сразу спохватился ей перевести. Я выбежал через заднюю дверь, за которой шла тропинка в горы. Эту тропинку я давно присмотрел для такого случая. Поло следовал за мной. В эту минуту я увидел между горами и мной отряд других солдат, развернувшихся полукругом со штыками наперевес. Я точно помню слова, **которые** промелькнули у меня в голове: "**Je suis fait comme un rat**" (я давно уже думал **по-французски**), т.е. "**попался, как крыса**". Вдруг я увидел метрах в тридцати перед собой деревянную клетушку и юркнул туда, как кролик в норку, Поло за мной. На двери был ключ, я протянул руку, вынул ключ и заперся с Поло изнутри.

Воспоминания о дне, который я провел там в его обществе, не из приятных. Помню, через некоторое время он начал громко икать. У нас говорят, чтобы прекратить икоту, надо хорошенько испугать икающего. В данном случае это средство не подходило. Довольно странно, что его испуг придал мне то спокойствие, в котором я сам так нуждался. Но когда невидимая рука повернула снаружи ручку двери (тщетно, так как я запер ее изнутри), мне показалось, что мое сердце разорвется. Пришелец **ушел**... и больше не возвращался.

Позже возникла еще одна проблема. Но глиняный пол нашей клетушки это исключал, потому что был с наклоном к двери и нас могла бы выдать предательская струйка. Я заметил в углу несколько пыльных пустых бутылок и предложил ими **воспользоваться**. Могу поделиться опытом со своими читателями мужского пола: в бутылку неудобно, но возможно. Наконец, когда стемнело, я услышал голос Сюзан. Она громко распевала: "**Ослик, кролик, песик,мышь**", - русские слова, которым я ее обучил, **когда** ухаживал за ней в Сен-Рафаэле (далее этого она так и не пошла). Она давала мне знать, что немцы ушли и путь свободен.

Было ясно, что мужчинам - Поло и мне - оставаться в доме опасно; немцы могли вернуться когда угодно. Я не знаю, куда уехал Поло, я его больше никогда не **видел**, но знаю, что он уцелел. Полагаю, что воспоминания о дне, проведенном вместе со мной в клетушке, ему были так же неприятны, как и мне. На следующий день Сюзан и я оставили Ла **Ферьер** и перебрались в полузаброшенный уединенный дом в горах, скорее в **хижину**, в крошечной деревушке, метров на 500 выше Ла Ферьер, прозванной Бурден (**Burdin**). Мама осталась внизу с мадам Поло и ее детьми. Через пару дней мы увидели маму в нашем **Бюрдене**. В те дни, несмотря на свои шестьдесят пять лет, она была еще совсем бодрой и вскарабкалась к нам без большого труда. У нее были

слезы на глазах, но это были слезы радости. Она пришла нам сказать, что союзники высадились в Нормандии. Это было шестого июня 1944 года.

Мы решили никуда пока не двигаться. Можно было опасаться новых набегов немцев и их ненавистных сообщников из милиции. До 15 августа мы провели с Сюзан в хижине два идиллических месяца, прерванные только раз на три дня умственной **деятельностью**, о которой речь пойдет дальше. Водопровода в нашем убежище, конечно, не **было**, и мы ходили за водой к роднику, из которого струилась вкуснейшая вода, которую я когда-либо пил. Пищу готовили в очаге на хворосте, который собирали недалеко от дома. Для освещения у нас была свечка, которой мы **пользовались** мало, потому что сумерки наступали поздно, а спать мы ложились рано. Спали на матрасе из **соломы**, который надо было хорошенько перетряхивать каждое утро.

Мы завели курицу, которую я прозвал Гюдюль (Gudule) по имени старой церковной служанки из книги Анатоля Франса. Сюзан кормила ее корками сыра, подгнившим рисом, которого у нас было два-три пакета, и объедками. И Гюдюль неслась отлично. Она любила стоять на пороге и прислушиваться к тому, что мы говорили. Мама утверждала, что она шпионка и доносит все разговоры в гестапо. К сожалению, мы решили "**принести** ее в жертву на алтарь" союзных успехов и были страшно разочарованы. Интенсивная кладка яиц нашей Гюдюль истощила ее так, что под пышным оперением мы нашли только кожу да кости.

Мы ходили в лес собирать лисички, землянику **и**, главным образом, чернику, которая росла в невероятном количестве. С помощью приспособленных для этого **ящичков**, так называемых гребешков, можно было собрать кило черники за несколько минут. Собираение лисичек, прятавшихся во мху, требовало большего внимания и настойчивости. Помню, что вначале, в то самое **место**, которое, как нам казалось, мы очистили от грибов, пришла крестьянка и собрала больше фунта лисичек. Во время этого идиллического существования я иногда спрашивал себя, не подобало ли мне примкнуть к ближайшему **маки**, члены которого все чаще разгуливали с автоматами по тропинкам и даже показывались на дорогах. Но, насколько я мог судить, их главное и, пожалуй, единственное занятие заключалось в **пребывании** в маки вместо работы в СОТ в Германии (не желая обобщать, говорю только про тех маки, которых видел вокруг себя), что, конечно, тоже было похвально. Так как я, пребывая в Бюрдене, тоже бойкотировал СОТ (хотя **меня** господа гитлеровцы предназначали вовсе не для СОТ, а для **кое-чего** похуже), я не видел необходимости спать в маки вместо своей постели.

Теперь о том умственном занятии, о котором говорил **раньше**. Пришел срок экзамена за курс высшего анализа, на который я записался в Гренобле. Прodelав в уме все упражнения из книги Бурбаки, я чувствовал себя хорошо подготовленным и решил сдавать экзамен в Гренобле. Я знал, что это опасно. Автобусы, следующие в Гренобль, часто проверялись жандармами **"Виши"** или членами милиции, и, кроме того, в Гренобле сами немцы все время устраивали облавы. Опаснее всего были окрестности университета.

Я человек покладистый и обыкновенно легко уступаю, но на этот раз ни мама, ни **Сюзан** не смогли меня отговорить. Какой-нибудь психолог может вообразить в этом безрассудном поступке желание доказать свою храбрость и искупить свое отсутствие в рядах маки, но вряд ли это так. **По-моему**, я просто хотел выдержать экзамен, к которому чувствовал себя прекрасно **подготовленным**. Точно так же в моей попытке попасть на военный корабль в ноябре 1942 года единственным побуждением было желание воевать с Гитлером. **"Хорошо"**, - сказала Сюзан, - **"тогда"** я тоже не останусь здесь, а поеду с тобой." У знакомой **Глиманов** была маленькая комнатка в Гренобле, нам достали ключ от нее. По дороге в Гренобль ничего не случилось, и мы легко нашли нашу комнатку, скорее каморку. Кровать была совсем узенькая, и мы придвинули ее к стене, чтобы не упасть ночью.

На следующий день по дороге в университет опять все **обошлось** благополучно. Утром был письменный экзамен по **топологии**, а после обеда - по интегральным уравнениям. На каждом было по задаче, которые я легко решил. Но на обратном пути я чуть не попался в руки немецкому патрулю, который не спеша приближался ко мне с другого конца улицы. Мне удалось убежать, скрывшись в поперечном переулке, которых в Гренобле много, и вынырнув на другой улице. Через день был устный экзамен. Я был принят *первым* с отметкой **"отлично"**, что польстило моему помятому честолюбию.

Месяц спустя, 15 августа, мы услышали по радио о высадке французских и американских войск на Средиземноморском побережье (между прочим, в нашем **Сен-Рафаэле**). На следующее утро я увидел на главной улице Ла **Ферьер** военного в форме французского лейтенанта. Его появление в Ла Ферьер через день после высадки на юге мне показалось чудом. На самом деле он был партизаном, членом ФВС (Французских внутренних сил). Я воспользовался тем, что у меня на голове был берет, чтобы отдать ему честь, и выразил желание примкнуть к его отряду. Он велел мне прийти с вещами после обеда. Я объявил маме и Сюзан о своем решении, которое было принято без восторга, но и без

протестов (в отличие от предыдущего моего заявления о желании сдать экзамен в Гренобле).

Кончились годы **"зеленой плесени"**. Начинался второй военный год, которому, если не считать **"счастливого конца"**, было суждено оказаться таким же нелепым, как и первый.

Вторая служба

Зачем полез он на эту галеру?

Мальер

Доброволец. - История заикается. - Нашивки расцветают. - Боец отдыхает

Этот нелепый год вызывает у меня чувство раздражения. Оно покрывает мои воспоминания туманом, который я постараюсь **рассеять**, чтобы изгнать то, что под ним кроется. Ничего трагического или постыдного, но, как я сказал, *нелепое*. В этот день августа 1944 года, вооруженный предметами первой необходимости (в том числе вторым томом Бурбаки), я находился с группой молодых **людей** перед мэрией Ла Ферьер. Лейтенант **Росси** (военная кличка) пригласил нас в открытый грузовик, в котором мы и отправились в **Фон-де-Франс** знакомой мне дорогой. Там вагонетка подняла нас на верхушку массива **Сет-Ло**, где я никогда не был раньше и где я увидел постройки, принадлежавшие альпийской электростанции, которые в настоящее время служили казармами для сотни представителей ФВС. Я сообщил необходимые сведения о себе: фамилию (я мог выбрать военную кличку, но не пожелал), адрес ближайших родственников и военный опыт. Узнав, что я служил в артиллерии, мне обещали перевести меня туда позже. Я подписал бумагу о добровольном поступлении на военную службу на шесть месяцев, которую должна была позже закрепить **регулярная** армия. Нас прекрасно обмундировали - в кожаные куртки на молнии, зеленые лыжные брюки и лыжные бутсы, которые поступили к нам со складов лагерей для молодежи, основанных правительством **"Виши"**. (Я и не подозревал о существовании такой организации.) Мне выдали английский **автомат "стэн"** с одной обоймой и две ручные гранаты. Инструкций, как ими **пользоваться**, не было, и я решил, что это всем известно. Мне же показал, как пользоваться **"стэном"**, мой сосед - здоровенный дядя, понюхавший пороху в интернациональных бригадах в Испании (гранаты были мне знакомы по Фонтенбло).

Вокруг лагеря поставили караул. Несколько раз стоял в карауле и я с автоматом в руках и гранатами за поясом, готовый швырнуть во врага гранату или дать очередь из автомата, но никто не подвернулся. Кроме этого никто абсолютно ничего не делал, и я скоро стал скучать, спрашивая себя: "На кой черт я сюда полез?!"

Дней через десять нам дали отпуск на двое суток. Куртка и лыжные штаны очень понравились моим дамам, но мама захотела узнать, не могло ли мое оружие нечаянно выстрелить. Я ее успокоил, сказав, что, пока в гранату вставлен предохранитель, а в автомат не вставлена обойма, оба предмета совершенно безопасны.

В лагере нам устроили практику по стрельбе из "стэна", и каждый из нас расстрелял по обойме. А один из нас, очевидно, забыв правила безопасности, о которых я докладывал маме, ухитрился прострелить себе ногу. Потом нас рассадили по грузовикам и отправили, как мне кажется, в массив Уазан (Massif de l'Oisans) (но воспоминания у меня смутные). По обеим сторонам дороги стояли приветствующие нас толпы людей, но нам не нравилось, что они принимали нас за американцев и настойчиво требовали сигарет и жевательной резинки. Мы бросали им деревянные кубики, которыми "питались" двигатели наших доморощенных грузовиков. Люди кидались на кубики, принимая их издали за американские дары.

Через некоторое время меня перевели в артиллерию. "Артиллерия" состояла из одной трофейной немецкой противотанковой пушки. Четыре снаряда, которые достались нам вместе с пушкой, мы скоро расстреляли на учениях.

В октябре я получил отпуск на три дня, и мы с Сюзан, наконец, поженились. Помню, что месяц я провел в форте над Бриансоном (Briançon) у итальянской границы и что туда однажды попал снаряд миномета, не причинив никому вреда. Я сходил с ума от скуки. Все это было несерьезно. Ведь были же где-то люди, которые дрались с немцами! Но где?

Вокруг меня множились офицеры ФВС с внушительным числом нашивок на рукавах. (На плечи нашивки перекочевали только к концу войны.) Они беспокоились, будут ли эти нашивки признаны регулярной армией. Я охотно верю, что некоторые из нашивок были заслужены в бою, но вряд ли все; уж очень много их было. Есть даже анекдот, что на смотре войск ФВС генералом де Голлем один офицер выделился среди всех одной единственной нашивкой на рукаве. "Вы что, шить не умеете?" - спросил его генерал. Вскоре все офицерские чины ФВС были объявлены "фиктивными", хотя никто не знал, что это означает. Во всяком случае, я, двадцатидевятилетний старший капрал, плевать хотел

на нашивки. Мне только жалко было драгоценного невозвратимого времени.

В конце концов, кажется, в декабре 1944 меня вызвал артиллерийский подполковник Беранже (Béranger) и объяснил, что стране нужна новая армия, основой которой будут ФВС и что бойцы ФВС (я уже стал бойцом ФВС) должны вернуться к учебе, т.е. в моем случае в артиллерийское училище, в котором будут коваться новые кадры новой армии. (Училище, которое возглавлял он сам, находилось в Лионе (Lyon) в казарме Лион-Ла-Дуа (Lyon-la-Doua).) Я возразил, что пошел добровольцем, чтобы драться с немцами. Он ответил: "Не беспокойтесь, война продлится еще долго, придет и ваша очередь драться с немцами". При мысли, что придется проделать снова все, что я делал четыре года тому назад, я впал в уныние и решил, дождавшись конца моего шестимесячного обязательства, вернуться домой.

Я сделал еще одну - последнюю - попытку (в высшей степени незаконную), чтобы попасть в настоящую армию, ту, которая воевала с немцами. Увидев на обочине батарею "стопяток" (они заменили наши "семидесятипятки" и были американского происхождения) на пути к фронту, я обратился к командиру: "Мой капитан, я окончил артиллерийское училище в Фонтенбло в 1940 году, не возьмете ли вы меня с собой?" Он ответил: "У меня полный комплект, но, пожалуй, найдется место для подносчика". Здесь я должен пояснить, что прислуга полевого орудия состоит из шести бойцов в следующем порядке: двое, своего рода патриции, - это наводчик, который наводит орудие, и установщик детонатора, который вооружает снаряд надлежащим взрывателем; двое классом пониже - заряжающий и стреляющий, и, наконец, два плебея - подносчики. От них требовались не мозги, а мышцы. По приказу наводчика они поворачивали лафет, по приказу подрывника таскали снаряды (у "стопяток" они были еще тяжелее, чем у "семидесятипятки"). Моя жажда битвы оказалась преодолимой - интеллигент и сноб, я не пошел в подносчики. С тяжелым сердцем отправился я в Лион-Ла-Дуа, где меня опять стали учить всему тому, что я проходил в Немуре и Фонтенбло. Единственным различием было то, что даже французских "семидесятипятки" нам не дали; их заменили трофейными итальянскими.

Многие из моих товарищей были кадровыми унтер-офицерами маленькой армии, которую Франция сохранила по условиям перемирия 1940 года. Для них наше училище представляло неожиданную возможность выйти в офицеры, и они все зубрили, как окаменные. Но один из товарищей, с которым я подружился, был совсем другого рода. Он был из ФВС, но, в отличие от других, присвоил себе, я думаю в насмешку, чин старшего сер-

жанта. Культурный парень, он был лицензиатом философии и часто бывал навеселе. Однажды, когда наш капитан заорал на него: **"Почему старший сержант не на посту?!"**, - он хладнокровно ответил: **"Я фиктивный старший сержант и стою на посту фиктивно"**. .

Прошли мои шесть месяцев, я явился к подполковнику Беранже и объяснил, что мне тридцать лет и пора подумать о будущем, и что я не желаю возобновлять мой контракт с армией. Меня отпустили. Я вернулся в Ла Ферьер с твердым намерением **подготовиться** к штатской жизни. А два дня спустя получил повестку от военных властей Гренобля, в списках которых, после моего **несчастливого** добровольчества, я теперь числился как старший капрал запаса. Запасники призывались служить в охране лагеря, который открывался в окрестности Гренобля. Никто не знал, предназначается ли лагерь для немецких пленных или станет временным центром для освобожденных французских пленных, но пока в нем никого не было за исключением меня и еще дюжины несчастных запасников примерно моего возраста. Это было хуже Лион-ла-Дуа, и я тут же написал подполковнику Беранже трогательное письмо с просьбой освободить опытного и одаренного артиллериста от унизительной должности охранника и взять меня обратно. Он вызволил меня оттуда с необычайной скоростью, я вернулся в училище и окончил его одним из **"первых"** в чине юнкера.

Мы отпраздновали окончание **училища**, и к этому случаю я сочинил поэму, которую можно было распевать на мотив песни, хорошо знакомой и теперь студентам медикам, о **"Каролине гулящей"**. Мне запомнилась только одна (цензурная) строфа про трофейные итальянские **"семидесятипятки"**, которая **по-русски** звучала бы приблизительно так:

Нам итальянцы подарили
Средневековую пищаль.

Они ей **сарацинов** били,
А мы ей славно палим вдаль.

"Пищаль" на самом деле палила на **слауэ**. Это была хорошая пушка, и на экзамене я сбил объект на полигоне в два выстрела, опередив всех. Надо сказать, что, **во-первых**, у меня было вдвое больше опыта, чем у других, а **во-вторых**, у меня была дальностьзоркость (за что расплачиваюсь на старости лет).

По окончании курса нас послали в Эльзас с **4-й** МГД (Марокканской горной дивизией). Это была моя первая встреча с войсками, которые воевали с немцами **по-настоящему**. Я провел два дня на наблюдательном пункте, где в меня никто не стрелял,

но где я командовал стрельбой по объекту, который капитан указал мне на карте. Он уверял, что я добился попадания, хотя, как он мог это увидеть, я не знаю. Я хорошо видел вдаль, но не заметил попадания. Затем **4-ю** МГД послали на отдых в **Мюлуз**. Я не знаю, как Мюлуз выглядит в мирное время, но тогда там была страшная тоска.

Среди моих обязанностей меньше всего мне нравилась обязанность командовать патрулем: расхаживать вечером по улицам с четверьмя бойцами в шлемах и под ружьем в поисках **пьяных** или хулиганящих солдат и забирать их в казармы. Никогда я не был так рад, что спиртные напитки запрещены исламом. Среди всех марокканцев, грозных воинов, только что вернувшихся с итальянского фронта, где они участвовали в жестоких сражениях, дрались с **немцами**, я не увидел ни одного пьяного. В обязанности патруля входило также контролировать другой порок, дозволенный исламом. Вот почему однажды я оказался со своим патрулем у входа в заведение, предназначенное для марокканских войск, с наказом блюсти порядок. Мне ни разу не пришлось вмешаться. Солдаты смирно стояли в очереди, странно молчаливые и **спокойные**, и мне невольно вспомнились такие же марокканцы, так же спокойно дожидавшиеся своей очереди, которые так поразили меня двадцать лет тому назад. Жутко!

После **Мюлуза** меня послали в гарнизон в Белле (Belley), тихий провинциальный городок, где я зажил безмятежно в ожидании демобилизации. Обязанности мои были не обременительными, начальство оставляло меня в покое, демобилизации ждали все (кроме кадровых). Местность Белле славилась своей гастрономией, и с бывшими товарищами из Лион-ла-Дуа у нас было несколько незабываемых пирушек. Я открыл с ними обычай **"numь девочек по метру"**. Это требует объяснения. **"Девочками"** (**fillettes**) там назывались бутылочки весьма приятного местного белого вина. Пустые же бутылочки расставлялись на столе в ряд, пока длина ряда не достигала (или не превышала) метра.

За то время у меня произошла только одна маленькая размолвка с артиллерийским майором, но чтобы объяснить, в чем было дело, я должен прежде прочесть краткий курс артиллерии. В артиллерии различали (я употребляю прошедшее время, потому что не знаю, что они делают теперь) стрельбу **"ударного действия"**, где взрыватель взрывает снаряд при попадании в цель, и **стрельбу "дистанционного действия"**, где взрыватель вызывает взрыв на заданной высоте над целью. В мое время это регулировалось длительностью сгорания пороха во взрывателе и было обязанностью патриция №2 оружейной прислуги - подрывника. Мы только что получили новейшие взрыватели, действовавшие **"по близости"**, в

которых расстояние между **снарядом** и целью измерялось **автоматически**, и взрыв происходил, когда это расстояние достигало требуемого значения. Я или знал, **или**, скорее, догадался, что это измеряется длительностью прохождения туда и обратно **электромагнитной волны** (названия **"радар"** я тогда, конечно, не знал). Майор же объяснил, что это делается с помощью **ртутного альтиметра**, и я, **юнкер**, посмел возразить **майору**. Это после того, как я прослужил в армии два года и окончил два офицерских училища! Надо **ли добавлять**, что, когда через пару недель мы услышали О взрыве атомной бомбы над Японией, я "заткнулся", предоставляя начальству **рассуждать** об этом, как ему вздумается.

Начал я серьезно размышлять о том, что буду делать после демобилизации. Об этом будет подробнее дальше, но здесь я хочу рассказать еще про один забавный случай. Как юнкер я имел право не ночевать в казарме и снимал **комнату** в старом доме **Брий-Саварена (Brillat-Savarin)**, знаменитого гастронома XVI-II столетия. (Мне очень нравится **его** девиз: "Вы отвечаете за блаженство вашего **гостя**, пока он под вашей кровлей, и на следующие **сутки**".) Роясь в библиотеке хозяина, я нашел рецепт варенья из дынь, который списал для Сюзан в надежде, что он ее заинтересует. В своём ответе Сюзан ничего не сказала про варенье, но справлялась, что ей делать с прошением на стипендию, написанным мною на имя **господина де Вальбрез (De Valbreuze)**, **директора Высшей школы электричества (Ecole Supérieure d'Electricité)**. Я объяснил ей, куда **отправить** прошение, и к варенью из дынь больше не возвращался. Пробовала ли госпожа де Вальбрез варить это варенье или нет, я не знаю. За два года, которые я провел в этой школе, во время редких и кратких встреч с директором я этот вопрос не затрагивал.

Вскоре я был демобилизован и вернулся в Париж.

Три мушкетера

Пора, мой друг, пора!

Сюпелек. - Новорожденный **КАЭ**. - Зрелый **д'Артаньян**. - "Крупнейший" атомщик. - Школа засекречивания. - Атомы и бюрократы

В 1985 году французский Комиссариат по атомной энергии (КАЭ) отпраздновал свое сорокалетие. Журнал "Атомная энергия" (**Energie Nucléaire**) предложил некоторым ветеранам КАЭ рассказать о своих ранних впечатлениях. Вот как начинались мои

воспоминания: "Осенью 1945 года мне было тридцать лет, я сдал семь экзаменов за семь университетских курсов, не имея ни одной **публикации**, и был без работы; как это произошло?"

Читатель вряд ли может пожаловаться, что я ответил **недостаточно** подробно на этот вопрос на предыдущих страницах. Но после заклатья прошлого (выражение, которое повторяется на этих страницах со зловещей частотой) и возвращения к жизни, не **только** гражданской, но с уходом "зеленой плесени" и цивилизованной, меня брало за горло настоящее.

В конце прошлой главы я рассказал, как через Сюзан я обратился за приемом и стипендией в Высшую школу электричества (**Ecole Supérieure d'Electricité**, сокращенную в **Supélec**) или, как я отныне буду писать, **Сюпелек**. Мои семь экзаменов открыли мне вход без конкурса в Сюпелек, а мои военные подвиги обеспечили стипендию. Зачем постучался я в дверь Сюпелек? Первый мотив ясен из предыдущих строчек: стипендия и прием вне конкурса уже **кое-что** значили. К тому же сама мысль о возвращении в Сорбонну вызывала у меня отвращение: профессора ведь были все те же.

Но были и более существенные мотивы. Мой друг **Гликман**, сам инженер радиотехник, очень хвалил эту школу. На отделении по **радиотехнике**, которое я **выбрал**, продолжительность курса была только что увеличена с одного года до двух, что вряд ли могло понравиться **тем**, кто, как я, уже **потерял** столько времени. Но должен признать, что это было правильным решением. Оно стало необходимым ввиду успехов радиотехники не только за границей в связи с развитием военных применений, но и во Франции, где, начиная с работ генерала **Феррье (Ferrière)**, **Гюттона (Gutton)**, и даже Луи де **Бройля**, была заложена достойная традиция в этой области и где **за последние** годы наши радиотехники оказались, пожалуй, активнее **наших** физиков. Вот **почему** в начале октября 1945 года я переступил порог **Сюпелек**, находившейся тогда в "Малакоф" (**"Malakoff"**) - предместье Парижа, названное так в **честь** Малахова кургана, где, как считают французы, **они одержали** победу во время Крымской войны), с намерением, спешу сказать увенчавшимся успехом, выйти оттуда через два года с дипломом инженера радиоэлектрика. Означало ли это погребальный звон по моим надеждам стать физиком? Как говорит Хемингуэй, кто знает "по ком звонит колокол".

Сюпелек не была тогда и, как мне кажется, не является и теперь одной из "Больших школ", таких как **Политехническая** или **Нормальная**, ни по своему престижу, ни по качеству учащихся, которые туда попадают. Но я безоговорочно утверждаю, что она стояла тогда гораздо выше их (теперь - не знаю) качеством